



**Ж**ил да был Андрюша — первый парень на селе: самый сильный, самый умный, всем ремёслам обучен и грамоте. Охотник меткий и рыбак удачливый, каждый встречный ему улыбается, руку жмёт, как городскому, каждая встречная глупеет: чуб у парня знатный и глаза голубые.

Тут война с германцами, забрали Андрюшу в солдаты. В самые отборные войска — Первую особую пехотную бригаду. Старшим над солдатами поставили — ефрейтором. Андрюша усы отрастил и стихотворение в газету написал. Стихотворение, к слову сказать, было обычно — про солдата, павшего в бою, и горе матери, — пересказ слышанных песен. Но влетело за него Андрюше неожиданно толсто.

— Про победу пиши, Егоров, про победу! — потрясал кулаком ротный командир. И четыре взводных глядели недобро.

Андрюша ответил начальнику по уставу, но на воздух вышел с недоумением, лёгким, первым.

И хлынули недоумения, как через промоину в плотине, с каждым часом всё шире. Отправили пехотинцев на войну, а эшелон по неизвестной причине пошёл прочь от фронта, на восток. По морозу повезли ребят в тёмных, укупоренных «теплушках» через всю Россию до Забайкальска, и ещё дальше, через Монголию и Китай до Жёлтого моря. Там у них собрали зимние шапки и выдали летние фуражки, посадили на пароходы, объявили: едем бить немца с тылу, —

и ещё два месяца мучили качкой, штормами, жаждой, *дизертерией* и лихорадкой — так, что голода братцы не замечали. Десять тысяч безоружных солдат везли под носом у германских линкоров, и без конвоя! Каждый дымок на горизонте сулил смерть. Два Китайских моря, Индийский океан, и опять моря, моря — Аравийское, Красное, Средиземное... Слава Богу, нам не ведомо наше будущее. Кабы оно открылось, никто бы и жить не захотел.

После войны учёные люди назовут эти дела: экспедиция Первой особой пехотной бригады Русской Императорской Армии — военная помощь союзной Франции.

## Царевна

20 апреля 1916 года русские богатыри высадились в Марселе. Пассажирскими поездами их развезли по четырём лагерям для боевой подготовки. Андрюша попал в военный лагерь Мэйи Шампань, виноградный рай, аккурат между Парижем и Западным фронтом.

Нижним чинам раздали оружие — французские винтовки «лебель», с боеприпасом в удобных подсумках. И самое важное, чинов стали кормить досыта: в рационе появились сушёные фрукты — *компот*, свежий лук и чеснок, через день давали свежее мясо, масло, какао и даже красное вино!

Братцы стали важничать. Первый день в лагере они глотали пищу, не жуя, сопя и чавкая. Но уже на второй день, когда снова увидели хорошую еду, ребята заважничали — сели прямее, начали разжевывать кусок, поглядывать по сторонам, пошучивать. Вне строя пошли вразвалку, взяли купеческую манеру сыто отдуваться. Кто раньше хихикал, теперь захехекал, заговорил толстым голосом. Отделённые командиры почуяли перемену первыми. Взбесились, конечно, но руки не распускали, былому ожесточению положила предел близость фронта.

Взводный Белореченков в ослаблении офицерской власти обвинил французов: они теперь кругом!

— Мы в окружении либерализма! — гневался подпоручик, выпив сидру после бани. — У них вне строя нет субординации. Французский офицер подаёт руку рядовому солдату!

Ещё одну слабость принимающей стороны выявил командир бригады генерал Луковицкий:

— Военный лагерь Мэйи не огорожен!

Французское командование слегка удивилось его замечанию и мягко попросило генерала сосредоточиться на основных задачах союзных войск.

Но Луковицкий настаивал: забор-де важный фактор боевой способности русских солдат. Надо отдать ему должное, Николай Александрович оказался прозорливее многих начальников. Он настаивал:

— Мы понимаем, размеры лагеря велики. Разрешите огородить шестнадцать русских казарм своими силами!

Далее французы с любопытством наблюдали, как русские после занятий вкапывали столбы и самоогораживались. Дело это шло медленно, *саботаж* — слово хотя не наше, но занятие вполне русское. Изгородь так и не была закончена никогда. Солдаты в мундирный час свободно уходили погулять в лес или в деревню. Возвращались: кто с молоком и яйцами, кто с подбитым глазом, — и те, и другие хвастались любовными победами над француженками; конечно, ввали. А может, и нет... Так или иначе, отношения с местным населением складывались дружеские. Тому способствовали французские офицеры русской службы, прибывшие из России вместе с Первой бригадой. Испытанные русским застольем и карточной игрой, они ещё в море полюбили безмерную славянскую душу и приняли правило: драка не повод для ссоры.

В «русских казармах» по вечерам играли гармошки, брэнчали балалайки, там был живой медведь Миша, мальчик-солдат Ваня, запевала Сашка и... вот — наш Андрюша-солнышко. Миша ловил печенье и кувыр-кался, Ваня плясал, Сашка пел жалостные русские песни, а Андрюша крутил «солныш-

ко» на турнике, не сымая сапог. Иногда, и даже частенько, они на смех перепутывали: Андрюша ловил печенье и кувырчался, Миша плясал, Ваня пел жалостные песни, а Сашку подсаживали на турник и изгалялись устно. Гости хохотали до слёз и везде совались поучаствовать.

В «русские казармы» по воскресеньям потянулись местные селяне с фруктами, сыром и вином — *пейзане*. Ребята учились бою штыком, метали холостую бомбу, ползали на локтях, атаковали с криком «ура», и по воскресеньям то же, — для пейзажистов это была потеха. Они рассаживались со стаканчиками на краю поля, глазели на солдат, кричали «*браво!*» и свистели. К стрельбищу, однако, местных не подпускали, с этим было строго.

После учений случались воскресные посиделки — закусь, питье и переговоры о деле: помочь что-то построить в деревне, выкопать яму, прочие работы за еду: *лёт травой он провизьон*. Сама собой расцвела торговля. Сама собой в казарме появилась Контин.

Она явилась из пекла сновидений, не могла не явиться: в таком скоплении молодых, здоровых мужчин, так долго лишенных ласки, витали сонмища воображаемых красавиц — без имён, без адресов, без лиц, но с грудями и ягодичками зело богатыми и до-стоверными.

Контин явилась одна. Говорили, что её уже видели в лагере раньше. Говорили, что она здесь главная: Жака-Блондина, коменданта лагеря, полковника, по ночам выгуливает на собачьем поводке. Много чего говорили, но никто не видел. И вот однажды братцы оторопели: женский голос в казарме! Воскресный день, солдатня регочет, матерится привычно, бренчит, гундит, и вдруг... Женский голос в казарме, будто тихая музыка. Солдатский гомон укладывается на пол ковром, и райский женский голос произносит в тишине незнакомую музыкальную фразу, как будто с вопросом:

— *Ля сигарет, лиз алимет, дю шоколя?*

Ребята тянут шеи разглядеть — кто там? Голос ближе, ближе:

— *Ля сигарет, лиз алимет, дю шоколя?*

Подходит: маленького роста взрослая женщина, в тонкой рубашке цвета топленого молока и вишнёвой юбке, руки коромыслом — только в руках не ведра, а широкий плетёный ящик на ленте, — да она коробейница! Лопочет по-своему, кажется товар и зубы — два ряда белых ровных зубов и семь рядов коробок с товаром. Коробки с папиросами и леденцами в плетёном ящике, розовые губы в улыбке, и глаза — синие! Весёлые, вольные глаза, не знающие ни стыда, ни страха. Идёт одна, как пароход «Маланья», идёт, раздвигая солдат, как воду.

«Моя!» — сказал сам себе Андрюша неожиданную глупость, само как-то выскочило, и все ребята в роте, увидев, ахнули: «моя» — уж так был задуман весь внешний вид коробейницы, её причёска в завитках, разноцветная одежда среди военной хаки, и улыбка, и розовые полные губы, и сама женщина так была задумана, чтобы возбуждать желание, и ещё удивление: как она, *такая*, решилась с юда?

А её это ничуть не беспокоило. Какая — такая? Куда — сюда? Обыкновенная: живу я тут.

«Хорошая страна» — перемигиваются братцы, лезут в карман за деньгами, протискиваются к очаровательной торговке, протягивают медяки, принимают фунтики, пожирая глазами женское лицо, пялятся. Вот один, Сёма Фомин, даже покупку забыл, попятился, и тут же был жестоко осмеян товарищами.

— Иди, иди!

— За поглядку заплатил!

— Поглядел, как шаньгу съел!

Контин, не понимая смеха, кинула взгляд и... Попала им в Андрюшу. Взгляд её был любопытен, как у девчонки, и так же пуглив — столкнувшись с чужим, отскочил и спрятался. Брови насупились, глаза обратно повзрослели, руки забегали: женщина за работой.

Андрюша-солнышко повеселел. Как будто подглядел чужую слабость, богатырь почувствовал себя ещё сильнее. Прошла оторопь, с усмешкой наблюдал он за женщиной,

ждал: ему хотелось, чтобы она снова посмотрела и увидела его усмешку, чтобы не больно-то задавалась. Напрасно. Андрюша прежде не видал *кокетства*, не мог предположить, что он уже рассмотрен женским боковым зрением и приговорён. Теперь Контин с удвоенным вниманием обращалась к покупателям, подбадривала смущённых, смеялась вместе с шутниками, укоризненно грозила пальцем одному и поднимала руки вверх перед другим: «Сдаюсь», — в сторону Андрюши она не посмотрела больше ни разу. Там — веселье, лицо Контин живёт, расцветая улыбками. Тут — Андрюша стоит замороженный.

— Контин... — летит шепоток, майский ветерок, смущенный, похотливый.

— Чё?

— Кличут её — Контин.

— Контин...

Она торгует сигаретами, конфетами:

— *Ля сигарет, ди бунбун.*

Последнее предложение особенно веселит солдат.

— Дибунбун, — повторяют они, играя глазами, ухмыляются во весь рот.

Подталкивают локтем Андрюшу: — Иди! Бун-бун даёт!

В досаде он выходит из барака.

И началось. Непонятную, неприятную досаду утешала картинка того, боязливого, взгляда. А как не бояться-то: столько мужиков... Чуть что — помнут кудряшки-то. Тот взгляд Андрюше был мил, его хотелось защитить. Он даже прикидывал, как можно вывести неосторожную мадам из разыгравшейся толпы. Но Контин справилась сама, толпе разыгаться не дала, расторговалась начисто и ушла, не оглянувшись. Это было неприятно.

А что неприятно-то — что справилась сама? Или — что не оглянулась? Андрюше хватает забот, чтобы не думать о глупостях. Надо будет её наказать как-нибудь. А тот взгляд оставить себе на память.

Русским пехотинцам начали выдавать железные шапки — французские *адреянки*. Первому батальону уже выдали, Егоров

пошёл мерить. Раньше не пошёл бы, а теперь — вот, надо стало адреянку Андрюше. Каким боком тут касается Контин — не понятно, но когда Егоров надел на голову *шлем Адриён* с российской кокардой, ему сразу вспомнилась маленькая коробейница — вот ей бы показаться! Но отчего-то её давно не было. Повертел ефрейтор в руках стальной шлем, постучал ногтем по кумполу, помял поля, заглянул под гребень — там дырочки для воздуха. Внутри каски три подушки конским волосом хрустят. Кожаный ремешок на серьгах. Ладно придумано: железная шапка.

— Бомба жопу оторвёт, так хоть голова цела останется, — шутят братцы.

Подали Андрюше зеркальце, он глянул, и шлем сразу снял в смущении.

— Каково это — жену дома оставить? — хотел поговорить с семейным Пасечником, чтобы тот научил не скучать. Но Мирон только покосился зло. Видать, спросил коряво, задел живое.

Пошёл к Сёме Фомину. С наигранным смешком пристал:

— Фомин, у тебя баба-то есть?

А тот, будто ждал:

— У меня две. Соседка Глаша, рыжая, и в гимназии Светлана, глаза синие...

— И у меня две! — обрадовался Андрюша. И задумался — чо сказал?..

Ну, надо так понимать, просторнее стало на душе у солдата, сделалась душа шире вдвое, когда Контин ему открылась. А ума, похоже, поубавилось.

Надо стало Андрюше синие штаны *галифе*.

Захотел «Георгия», и звание поручика.

А то вдруг привиделось Егорову, что он — капитан корабля, с кортиком и громовым голосом.

И всё это — для неё, для Контин теперь, для Контин. Контин набухала, как насморк, така глупота, Контин, лихоманка и вздор. Где вот она сейчас?

Послышался женский голос в соседней роте. Егоров окаменел. Как заколдованный, не разбирая пути, пошёл поглядеть. Ничего не хотел, ноги сами пошли. Никого не нашёл,

плюнул в сердцах, хотел вернуться к делу начатому, да из ума вылетело, к какому, — стал бриться: вдруг она сейчас придёт, а он не исправен... Всё неважно.

Огляделся: ребята важничают — повалились сапоги шить целиком кожаные; парусиновые голенища полетели в отброс. Полковые сапожники открыли место в Шалёне, там кожу берут добрую — русскую юфть, какую в самой России не найти. Там берут дратву крепкую — на еловой сере. Шьют чинам сапоги яловые — богатеют. Да все ребята забогатели, у всех вещмешки раздулись от припаса. Унтер-офицеры сперва радовались, что обувная забота сама собой разрешилась, а за ней и брадобрейная — лезвия, мыло, кутики всякие чины накупали — а потом насторожились командиры. Взводный Белореченков разорался, когда весь взвод к утреннему осмотру наодеколонился дешёвым французским парфюмом так, что хоть противогаз надевай.

Унтер Кузьмин тогда впервые дерзко пояснил командиру:

— Гигиена, господин подпоручик!

Бить фронтовика по сусалам взводный не рискнул, обошёл громом без молний.

Андрюша молчал.

Как он стрелял! За версту сбивал «ведро», самодельную щит-мишень. Затылок своей «лебели» Андрюша Егоров подклеил войлоком, чтобы не так больно отдавала в плечо.

Как он выпрыгивал из учебного окопа! Будто встревоженный зверь из берлоги. Это они с отцом ходили на медведя зимой, втроём — с ними объездчик Филя. Андрюша тогда впервые увидел: лежит пихта заснежена, под ней, Филя говорит, — медвежья берлога. Обступили, изготовились. Филя обухом по пихте бах — и тотчас из-под неё будто стая чёрных птиц порхнула, и в лес. Медведь!.. Де он?!.. Ушёл.

Андрюша видел себя медведем, быстрым, хитрым, сильным зверем. Колол штыком снап с разбега, отмахивался прикладом, не как попало, а прицельно, будто неприятель тут. Загляденье. Эх, жаль Контин не видит! Андрюша кидает взор на компанию граж-

данских зевак на краю поля — нет ли её там? Не, нету. Чёртова баба.

После занятий он стаскивает подменную лопатину, натягивает пахнущие мануфактурой штаны, новую гимнастёрку, сапоги яловые, и идёт по лагерю, из роты в роту, с приятелями или сам по себе — усталый, важный, хорошо поработавший солдат.

Из роты в роту, то есть с лужайки на лужайку, по вечерам ходили все. Вечера стояли светлые, тёплые, ребята с сигарками толпились на дворе вокруг бочки с водой, сидели рядом на скамейках, кружками на траве, трепались о бабах, бродили бесцельно вокруг казармы, шалея от запаха жасмина и трелей мандолины, затевали лапту и чехарду. Ловили птичек силками — так, для забавы. Диких голубей приманивали; сучали по голубятням, по голубиному небу...

Ещё эта французская жизнь сбивала с толку русских чинов. Французский язык, барский, стал доступен солдатушкам. Барская жизнь, вино за ужином, дружеское обращение селян, и прочее. Бравы ребятушки много думать стали о себе. Пропадали по ночам, опаздывали к перекличке. Нагло лыбились, коты. И управу на них найти становилось всё труднее.

Забора не было, за неделю братцы освоили коммуны Мэйи — село, прилегающее к военному лагерю, и станцию со складами, караулкой. Село большое, дворов сто, и уж там заборы ого-го — каменные, высокие, в одиночку не перелезешь. И дома каменные, и сараи, крыши глиняными черепками выложены ровно. Окон мало, а где есть, там вином торгуют старые бабы, девок нет.

— И то: зачем огораживать лагерь, дешевле дома огородить, — рассуждает Пасечник.

— Я знаю — они там девок прячут! Как азияты, — мелет Миколка.

— Да ничо они не прячут.

— Знаю. Возят вон грузовиками, как мясо. Дорого только.

Андрюша Егоров напоролся на Контин, как на берёзовый кол в стоге мягкого, тёплого, душистого сена. Редко, но бывает:

прыгаешь в сено с блаженной улыбкой — а там стожар, остриём вверх... И ведь ты знал, сам его острил, сам виноват.

Андрюша уже поладил в мечтах со своей прекрасной девой. Как на коробке конфет, парила она в облаках над ефрейтором, не сводя с него участливого взгляда, помогала во всех работах, слушала его речи, глядела в глаза, ласкала. И вдруг... встретилась вживую.

Ефрейтор Егоров шёл с почты. Он нёс под мышкой французские газеты и книжку с картинками. Цвело миндальное дерево сказочным цветом, военной музыкой перекликались его новые скрипучие сапоги. И тут из-за угла — она! Охнуло ретивое, и озноб, как в парилке, пробежал по телу. Кожа на затылке стянулась в пучок, двинулись с места уши, странной улыбкой обнажились зубы, — Андрюша испугался за своё лицо и встал столбом на дорожке.

Контин, та же и не та, с незнакомыми глазами, деловитой походкой обошла солдата и вошла в *посталь бюро*.

Егоров зашпешил, пятернёй вернул лицо на место, собрал мысли, слова французские, все, какие успел выучить...

Она выходит. Он к ней:

— *Же ме презанте... Капораль Егорофф.*

А она в ответ холодно:

— *Обруби себе х...*

И ушла.

А он остался на месте, разгадывать непонятную французскую фразу.

Он метал на учениях настоящие, боевые бомбы. Те улетали, прощально вертя в небе рукояткой, пропадали из виду, а потом в той стороне выскакивал из земли костёр, доносился хлопок, и за ним мелкие камешки, но он уже должен был лежать в траве носом.

Он видел, как приседает обслуга, зажав уши, и подпрыгивает на месте полковая пушка, вытолкнув факел огня и дыма, и следом пузырь звука. Много позже приходило эхо далёкого разрыва, но рассмотреть попадание без бинокля было трудно.

Как работает тяжёлая артиллерия, Егоров не видел никогда. Бывалый окопник Па-

сечник на его вопросы отводил глаза в сторону и бормотал что-то про мокрые штаны... Когда их выставили перед германцами, и по немецкому расписанию начался артобстрел, первый разрыв крупнокалиберного снаряда Андрюша не понял. Он был готов к обстрелу, он правильно прятался в земле, вцепившись в шлем двумя руками, втягивал плечи, поджимал ноги. Он слышал канонаду на стороне противника и вой в небе. И вдруг тут, прямо под ним, приключилось предательство — земля, в которой он надеялся укрыться, выбросила его тело наружу. А другой защиты у ефрейтора не было. И другой веры у крестьянского сына не было, как оказалось. Бог молчит, молись не молись. Зато земля — та родит и родит. Дождь ненадёжен, Бог ненадёжен, зато земля — верная: она и накормит, и на покой примет всегда, не откажет. И вдруг, в самый опасный момент, земля со звериным рёвом встаёт на дыбы и сбрасывает с себя человека, как червяка: «Медведь! Какой ты медведь? Ха-ха! Это я медведь!» — и, не давая подняться, бьёт слева и справа. И червяку не надо уже ни славы, ни сапог, ни штанов, сухих или мокрых — не важно. И самой жизни ему уже не надо — лишь бы всё это скорее кончилось. «Какие тебе бабы?! Обруб!»

Не сразу, но дошёл до Андрюши ответ Контин. И полетел служивый вверх тормашками с небес да на кол. *Контузён* и разрыв внутренних органов — сердца.

Маршевым шагом ноги несли его большое тело в казарму. Руки раздавали ребятам газеты, в пустой голове звучали их голоса.

Снял ремень, расстегнул пуговицы, покачался на турнике. Умылся. Сел играть в модную игру *домино*. Ничо. Эта пулька не насмерть. Скорее бы в дело.

Ближнее к лагерю поселение — Семуан, с маленькой речкой. Вода холодная, ключевая — рыбы нет, потому рыбаки по кустам не лезят, тихо, — там чины наладили заимку: два шалаша поставили у ручья, баньку выкопали, натаскали брёвен со стройки, перекрыли яму. Костёр с котлом, отхожее



место, — всё по уму. Водили туда французских девок, песни им пели, тискали на сене и прочее. Не наши чины, с другой роты.

Ладно, что греха таить, Андрюша тоже там побывал. Солдат где остановился, там и расплодился. Бог весть, сколько у нас родственников за границей.

В Семуане большая пекарня: хлеб поставляла военным, тесто на ключевой воде замешивали. Военные посылали помощников стряпухам — дрова рубить, чаны мыть. Ефрейтор Егоров дважды ходил в наряд на пекарню: сытный наряд, и стряпухи рядом. Хохочут из-за стекла, ладошками машут, глазками стреляют, обезьянки. На второй раз сговорились с одной, сбегали на заимку. Блядушка Егорову досталась вёрткая, но... Большая зубами, что ли? Андрюша старался не дышать, чтобы не нюхать. Да ещё самогонка в голову пришла, спирт коньячный, недоделанный. Как-то неладно всё вышло. Зато боль сердечную унял, и зараза не приехала. Облегчение.

Шалён-город повидал. Вроде нашего волостного городок, в тридцати верстах от лагеря Мэйи. Оттуда, из Шалёна, продовольствие для русской бригады гнали по железной дороге — каждый день два товарных вагона и один почтовый; ветка утыкалась в лагерь. В почтовый вагон по воскресеньям подсаживались отпускные чины, которые безупречные — им дозволялось съездить в город на денёк. Егоров один раз был безупречным, съездил в Шалён.

— Там большая станция, много путей, а вокзал маленький, — это он рассказывал потом братцам. — Река Марна, сажен сто шириной...

— Переплывал?

— Два раза, — отвечал Егоров. — А что там ещё делать?

— Ну! — подмигивали ребята.

— Ну — один раз, — подмигивал в ответ Андрюша.

— Церковь там... — тут он в знак крайнего восхищения корчил зверскую мину и произносил как страшное ругательство: — *Нотр-дам де Во!* Прости господи. Там прячут мощи — пуповину Христа.

— Врёшь!

— Давай, давай дальше!

Рассказывал ребятам про местный *гарнизон*, ихнюю форму, строгости *патрулей*, про *жандармов*. — Не побузишь, — качали братцы стриженными головами.

— А чо — охота?

— Как у тебя с Контин? — заглядывал к нему в душу Сёма Фомин.

— А кто это? — отворачивался Андрюша.

Унтер Кузьмин к нему подобрел необычайно.

— Егоров, хочешь в унтерскую школу?

Никогда прежде у Андрюши желания не спрашивали, ни в армии, ни дома. А тут вдруг лютый унтер молвит: «Хочешь?». И уговаривает:

— Ты подумай, Егоров. Я устрою через Белореченкова. Очень скоро полку унтер-офицеры понадобятся: нас, нынешних, перебьют.

— Я подумаю, — отвечал Андрюша не по уставу.

— Как у тебя с союзницей? — совсем человечьи спросил Кузьмин.

— С какой союзницей?

— Ну, и прально.

Да, так вот. На закате возвращаются три ефрейтора с променада в рассужденьи, как угнать из гаража грузовик «Пежо» и покатать на нём семуанских стряпушек. Приближаются к бараку. А навстречу им скачками — дежурный по роте унтер-офицер Хапунов. Издалёка вопит:

— Егоров, твою мать, где тебя носит!

Ефрейтора Егорова, как ветром подхватило, подбегает козырнуть. Но Хапунов топчет:

— В канцелярию! — И уже в спину шепчет, упреждая: — Белореченков. И там ещё...

Не договорил.

В канцелярии роты за столом ротного командира, благодушно развалясь, сидел молодой взводный. Перед ним, боком к столу, комфортно расположилась посетительница... Контин!

Полезная вещь — строевой устав: нет заботы, куда смотреть, куда руки девать и что говорить. Андрюша, гордясь выправкой,

шагнул к столу, чётко приставил ногу, резко поднял руку к козырьку и, глядя сквозь портрет императора в синий горизонт, громыхнул басом:

— Ефрейтор Егоров по вашему приказанию прибыл!

Подпоручик Белореченков состязаться в крике не стал. Против своего обыкновения, повёл речь тихо так — маленько с издёвкой:

— Ты зачем, братец, даму пугаешь? Стоять вольно, слушать сюда. Ты по чьему приказанию покидаешь расположение части? А? Молчать. — Командир подпустил металлу в голос: — В военное время! А?! ПОД СУД!!

За шкафом красиво отозвалась струной гитара и затихла. Насладившись мёртвой тишиной, подпоручик равнодушным голосом объявил взыскание:

— Ефрейтор Егоров. За нарушение режима — три наряда на работу. С завтрашнего дня поступаешь в распоряжение союзников в лице мадам Контин. После развода на занятия явишься к угольному складу в подменном обмудировании. Вопросы?

— Никак нет!

Вышел на двор, а там худой чин — золотарь Мишка, рыжим глазом подмигивает:

— Ну, как?

— Подбери-соплю-дурак, — механически отвечает Егоров, обдумывая дело.

— Кто дурак?! — радостно вопит поганец. — Сам дурак, сопля на погоне! Вштырил ей?

Андрюша только топнул на него, как на шавку. И ещё на солнце поглядел: лопни мои глаза.

Вошёл в кладовку — Христофоров вскочил с топчана:

— Что там?

Егоров крепко выматерился и попросил закурить.

Дотемна Христофоров, Куманьков, Егоров сидели в машинном дворе, судили баб. Вины за ими нашлось много, ребята все обиды сгребли в кучу, постарались. Стали кару придумывать, ну, такое сочинили — бумага не стерпит.

Утром, после развода, Егоров переоделся по-рабочему и прибыл к угольному складу. Ждёт. Вот подкатывает запылённая двуколка, лошадью правит страшно знакомая фигурка — Контин. Она в чёрном мужском *кепи*. Подобрал подол, соскакивает на землю: в поясе тонка, в тёмно-серое платье одета, до щиколоток. Поверх платья — чистый светло-серый передник с нагрудником и ляжками на плечах. Рукава платья закатаны до локтя; руки белые в синяках — телегу грузила самолично, подумал Егоров неприязненно-смятённо.

Привязала лошадь, поманила рукой. Егоров подошёл скорым шагом, глядя в синий горизонт, встал у повозки, ожидая команду разгружать. Теперь его рассматривала Контин.

— *Бери, клади, давай-давай*, — произнесла по-русски весело. Дело пошло.

Ездили в Пуавр, забрали из сарая стол и шкаф. Из казармы — стул и вешалку. В дороге молчали, глядели врозь. Свозили вещи, коробки с товаром в одну из двух комнат офицерского барака, отведённых под лавку — *бутик*, сказала Контин. Француженка была ухватиста и хорошо знала, чего хотела. Быстро смекала, когда солдату надобно пособить, а когда не стоит лезть под руку. И Андрюша её намерения разгадывал легко, с полкивка головы. Понимали друг друга без лишних слов.

Егоров сбегал на обед, и сразу обратно. Надо было успеть укрепить дверь, — эту необходимость ему пришлось доказывать хозяйке. Крепкая дверь, тяжёлый замок, решётки на окнах — казались ей лишними. Андрюша сбегал в гараж, взял у Христофорова пробой, молоток, гвозди... Показал француженке, как должна выглядеть правильная лавка. Глядела с любопытством. У неё были карие глаза, тонкие чёрные брови и ямки на щеках.

Светлой весенней ночью лежал Андрюша без сна. Думал про Контин и Белореченкова — как они... В том, что они любовники, Егоров не сомневался. Глубокой ночью, когда сменился и пришёл спать сосед, дневальный Кусков, Андрюше пришла догадка,



что Контин... со всеми: взводными, ротными... В тумане сна повторялась одна и та же картина, как она, в русском платье, идёт по русской деревне в обнимку то с одним знакомым офицером, то с другим, и каждому улыбается по-разному, всем, кроме Андриюши, — он невидим: такая занавесь между ними. Вот она уже с рядовым Кусковым, тот закинул руку ей через плечо нахально и навалился на бабу, как на костыль. Она его обхватила за пояс, тащит, как раненого. Оказалось, она — сестра милосердия, вытаскивает с поля боя всех подряд, всех, кроме Андриюши, потому что Андриюша убитый, — так думает сестра, а он и не убитый вовсе, только оглушённый...

А дневальный по-французски будет — *дежурный*...

— *Бон жур*, — сказал ей на второй день Егоров и зевнул: не выпался. Контин тоже — подавила зевок. Гуляла с кем-то всю ночь, подумал ефрейтор устало. Гадина.

Хороша собой, однако. Тонка, но вынослива. На что ей грузчики? Сама как грузчик. Носить с ней на пару стол, к примеру, — одно удовольствие: попадает в ногу напарница, попадает в руку — хватается один раз, и там где надо. Так и носил бы с ней этот стол до конца службы.

Сидит, чертит карандашом по линейке. Плечи узкие, как у девки. Приказала вкрутить лампочку. На что ей электричество? И так светло, — забеспокоился Егоров: он лампочку один раз уже вкручивал, в стрелковой школе, — сломал. Хрупкая, скользкая вещь тонкой работы.

Взял лампочку пальцами одной руки, другой потащил *табуре* на середину комнаты. А как в сапогах на чистое сиденье становиться? И разуться — не! Там — портянки; не разматывать же тут.

Глядь, а она уже с газетой идет, понятливая.

Поставил свой страшный сапог на белую газету. Влез на табуре. Заглянул в гнездо, там проволочка кривая. Хотел поправить пальцем — тут его и трепануло током. Силь-

но! Лютее, чем динамо. Но устоял русский и лампочку не выпустил. С колотящимся сердцем, не дыша, вкрутил стеклянный пузырь. Контин щёлкнула. Горит!

Третий день исполнения наказания был последним.

Такому наказанию братцы завидовали, и всяк на свой *манер*. Одни громко одобряли и поддерживали Андриюшу. Другие глумились и скалились по углам. Третьи злились молча. И всяк искал себе тоже добычу по этой части — кто глазами щупал местных баб, а кто и руки распускал.

— Последний наряд у тя, Андриюшка, — со значеньем говорил какой ни то балагур у ночного костра. — Гляди — не продырявь союзнику на прощанье.

Кирзовая публика ржала. Егоров супился: дать бы этому по уху, да не за что. Отшутиться не получалось, голову каруселило «прощанье».

Ему ничего не надо было от Контин.

Ему надо было всё.

Всё было «обрублено».

Всё могло только начаться.

Или не могло? Армейское правило велело ждать приказа, а крестьянский искон гнал плодиться. Как быть Андриюше?

Утром подменку надевать не стал. Чисто вымывшись и помолясь, ефрейтор Егоров надел добрую одежду, новые сапоги и выступил на рубеж.

Ждёт-пождёт, а цели нет. Час ждёт, два... Светило всё выше, Егоров под навес забрался, сел там на ящик, со двора глаз не сводит. Как собака. Сперва-то солдату весело было: не работать. А потом думы обступили, про-свет закрыли.

Не, не приехала Континка. Обманула.

В казарме тошно. Вечером, после занятий Андриюша ушел в поле, лёг между шеренгами вишнябля. Видит — братец идёт, такой же смурной, Сёма Фомин. Егоров обрадовался, шутит:

— Стой, кто идёт?

— Здорово.

— Здорово.

Егоров поднялся — обняться. Давно не виделись. Фомина отправляли на курсы в Шалён. Туда многих наших отправляли — учили на телефонистов, сапёров, самокатчиков.

— А тебя на кого выучили?

— На картёжника теперь. Карты рисую — королей, дам, валетов, — заученно отшучивался Сёма Фомин. Сел рядом с Андрюшей, отставил шутки: — Числюсь писарем в штабе полка. Третьи сутки карты-трёхвёрстки рисуем. Спать отпустили, да сон нейдёт. — Вздохнул: — Зачем мы здесь?

Ответить было нечего. В строю ответ от зубов отскакивает: «Долг чести!» — громче, чтоб оглушить. А тут, среди цветущих коряг, что скажешь?

— Что за страна? Даже нищим не подают, — горестно вздохнул Андрюша о своём. — У нас в деревне из четырёх пирогов один — всегда! — пекут для нищих. А тут... Был я в том Шалёне. Злой город. При мне в чайной два инвалида подрались: французы; решали, кто из них шпион. «Спион! Спион!» — как дети.

— Да нет, — как бы согласившись, возразил Сёма. — Шалён — прифронтовой город. В таком месте любой очумеет. Видел? Все стены оклеены картинками — гад германец насилует французскую девочку. Это — страх.

— Это — правда! — твёрдо возразил Егоров. — Германец — дьявол. Если его не остановить, всем крышка, всем.

— Ты сейчас сам на дьявола похож, — окскабился Сёма.

— Дурак ты, Фомин. Я вообще про другое. Я про французов — они безбожники, веры у них нет, потому и бьёт их германец. Чует слабину, дьявол.

— У них своя вера, — опять талдычит тонгуз поперешной. — Свои храмы.

— Колючие башенки, — спорил Егоров. — Нет в них Бога. Даже наш часовой вагончик лучше — честнее потому что. У нас в России хлебá по леву руку, хлебá по праву руку. А у них что? — Андрюшка вскочил на ноги и поглядел окрест. — Одно вино на уме. Один обман.

— Ты с Контин поссорился?

— Да. Правильно про неё ребята говорили...

Андрюша запнулся, не стал повторять.

Сёма Фомин глядел ему в лицо и качал головой, каждому слову поперечина.

— Враньё.

Перевели дух.

— Айда, Сёма, — молвил Андрюша тепло.

В обороне огонь пулемётов разделяют на прицельный и заградительный.

Подпоручик Белореченков разделит взвод прополом: два отделения стреляют, два бегают-ложатся. К «Максиму» друг за другом подходили чины и пускали короткую очередь по мишени, ограждённой срубом. Стреляли ослабленным зарядом, но и то шумно. Были такие, что страшились нажать спусковой рычаг, боялись чёртову поливалку. На таких взводный ругался матом.

Позади — чины второго полувзвода шеренгами ходили в атаку, залегали, слушали команды под звуки боя — привыкали.

Потом менялись.

Взбаламученные, маленько оглохшие, воротились чины в казарму.

Егоров умылся, тут его дневальный кличет, и голос у дневального какой-то дикий, и слова странные:

— Егоров! К тебе пришли!

И глядит невнятно.

Андрюша, умытый, выходит на крыльцо и видит — по дорожке перед баракom едет на велосипеде Христофоров, в распущенной рубашке, без ремня, без фуражки, радостно вопит, а за ним гурьбой бегут ребята, кто в чём.

Остолбенел Егоров от такой картины. Только слышит сбоку знакомый, смеющийся голос: — *Ондрэ! Можно поговорить?*

Они шли по аллее бок о бок, как обычная русская парочка, незнамо куда, мимо парадного строя цветущих каштанов, за ними увязавшейся сестрёнкой бежало закатное солнце.

Слова, слетавшие с их губ в эти весёлые минуты, не нуждались в переводе и запомнились сами.

Внезапно Контин вынула из-под фартука бумажку и, странно волнуясь, прочла вслух три русских слова:

— *Прости. Мою. Грубость.*

И тронула тонкой рукой грубую Андриюшину лапу.

Хватило бы касания, чтоб он забыл обо всём, но Контин пустилась в длинные объяснения, на французском, объяснения того, что Андриюша понял без слов, по лицу, по голосу: солдаты, они пристают к женщине, и один умный человек научил её волшебному заклинанию, но не объяснил, что значат те слова — «обруби себе...». А потом объяснил — после встречи у почты, когда от заклинания помертвели Андриюшины глаза, она пришла к тому человеку с вопросом. Вот он и объяснил. Контин ужаснулась и попросила его написать другое заклинание, обратного действия. Он написал. А Контин ничего не знала — что с Андриюшей? Нужно ли ему обратное действие? Может, он посмеётся над ней? И ещё. Ей надо было уехать на два дня. И как она терпела эти дни, и как выпросила у почтальона велосипед и мужские штаны: не в юбке же ехать, — чтобы примчаться в лагерь и вызвать Андриюшу... Подвижная, как девчонка, она показывала, как затягивала брючный пояс, как садилась в седло. Андриюша хохотал. Ему хотелось сгрести в охапку девчонку, но он робел. Проклятие всё ещё работало, не забывалось. Он сам не знал, чего хочет. На сколько вершков его желание было подкошено?.. Он любовался Контин и боялся её.

Они не заметили, как мелькнула ночь. Запели птицы: новый день! И речь Контин переменялась: новый день, да, пора: дела, коммерция. Андриюша с сожалением увидел, как повзрослели её глаза, и с радостью увидел в них сожаление...

Дверь в казарму была распахнута, из нее волнами шёл тёплый портяночный дух. Дневальный вывел из подсобки велосипед, с поклонами, моргая сонными глазами, передал его Контин.

Андриюша несколько раз попрощался с гостьей рукопожатием, и опять пошёл с ней рядом дальше, дальше... Околицей, росис-

той тропой вывел её из лагеря на дорогу в Пуавр. Там на них опять напало веселье. Вместо того, чтобы совсем проститься и идти обратно, он взгромоздился на велосипед, поехал, виляя, а она бежала рядом, удерживая его одной рукой за седло, а другой за руль. Он с уханьем и кряканьем кренился то на один бок, то на другой, и удивлялся, сколько силы в этой маленькой дамочке: давно бы упал, если бы не она... Один раз он всё-таки грохнулся, и презрительно, со звоном и дрязгом, на каменистую дорогу. Поднимал велосипед, выправлял руль; она по-матерински заглядывала в глаза: где болит? Отряхивала, проверяла локоть. На прощанье чмокнула в щёку, перекинула ногу через седло и уехала.

Обратный путь Андриюша не запомнил совсем. Сразу команда дневального: «Рота, подъём!» — казарма, яркий солнечный свет...

И всё встало на свои места. Лихорадка в Индийском океане. Шторм в Китайском море. Тёмный вонючий вагон, ослепительная суэцкая жара, тьма обид, голод и вопрос: «Зачем мы здесь?» — всё, что томило душу и корябало плоть, получило одно объяснение, простое и ясное: Контин. За тем и ехал издалека.

Две струны на балалайке, сверху вниз: кон... тин...

Лево, право — кон и тин.

Вдох и выдох — тин и кон.

Тин приходила после закрытия лавки к солдатскому костру, молвила с улыбкой: «Всем привет!». Ребята отзывались вразнобой: «*Бонжур, мадам! Салю!*» — сверкали их молодые зубы в свете костра. Подсказывали: «Вон он! Вон сидит!». Кон сиял на встречу, как намащенный блин, откидывал полу шинели и принимал Тин к себе под мышку. Широко вокруг сидели, лежали ребята, они баяли сказки, пели песни. Пили вино из бутылки, оплетённой лозой, которую приносила чудесная гостья, ели печенье. Понемногу разбредались кто куда, оставляя влюблённую парочку.

Двое ворковали о чём-то под шинелью, кислой, колючей, прекрасной шинелью. Целовались.

Что-то им не давало сблизиться. Он сжимал худые плечи и боялся их поломать. Ждал сигнала согласия, наверное. Вызывал ответ пожатиями, дерзкими вылазками рук, урчанием и конским пофыркиванием. Она... Как её понять? То отзывалась, то замыкалась. Дразнила? — он обижался всем телом. Опасалась? — он унимал её страхи отеческой лаской. Притом что сам отцом не был, и ласки отцовской не знал — одни окрики. У матери грубость была притворной. Малыш придет к ней: «Мама, голова болит». А она гладит, приговаривает с усмешкой: «Вдруг да не умрешь, вот беда будет». Перед Андрюшкой младенца похоронила — Ванечку. Андрюше он старший брат, а могилка — с локоток.

Сердце чувствует старшего, а ум — нет.

Сердце чувствует любимую, а ум — тужится, жилится...

— Хочу жениться, батюшка, — ходил Егоров до капеллана.

Тот вопрошал грозно:

— Напаскудил?

— Никак нет!

— Туземку обрюхатил? — пытал духовник.

— Никак нет, видит Бог.

— А какой она веры?

Мирон Пасечник моргал рыжими от воды глазами:

— Ну и что, что она старше годами? Ничто.

— Похоже, и не девка она. Как в деревне примут? — сомневался Андрюша-солнышко.

— Эээ, — не то засмеялся, не то хлипнул ветеран. — В деревне... Твоя задача, ефрейтор, в живых остаться. Подругу сбегать. В Россию вернуться. А там уж... Всё по-другому будет. — И прибавил: — Как в Россию вернешься, моих навести, поклон передай — вот адрес, спрячь.

— Дядь Мирон...

— Спрячь.

Сёме Фомину улыбнулся Егоров широко:

— Хороша страна — Франция! Погода!  
А? Пахнет как — чуешь? Цветами.

— Помирились?

— Молчи, Фомин! Ничего ты в этом деле не шурупишь. Я про цветы.

— Здесь свет другой, — молвил Сёма Фомин, художник.

— Да! Свет — другой! Мы в раю, чуешь?

Захотел Андрюша чудо сотворить. А приеду-ка я к лебёдушке домой! Да на белом коне!

В гараже у Христофорова нашёл два сломанных велосипеда, соорудил из них один. С тормозом. Задумался о подарке для Контин.

У самокатчиков за банку тавота выменял хорошую ниппельную резинку для шин; надул шины, прокатился по тропинке.

Придумал подарок. Сбегал, заказал его полковому умельцу.

Намотал на раму войлочную подушку для пассажирского сиденья — покатасть лебёдушку. Завернул подарок в чистый платок и вечером, в обход часовых, вывел «коня» на дорогу в Пуавр. Сел и поехал — сперва неуверенно, после шибко.

Дорога была пуста. Мягко катились шины. Ветер овеивал молодое лицо, птицы вспорхивали из кустов, душу грел волшебный подарок. За кустами угадывалась вода. Андрюша сошел к речке, нарвал цветов, полетел дальше как на крыльях.

Въехал на деревенскую улицу: никого. Тихо, не слышно даже собак. Дома стоят каменным задом к дороге, без окон, в большинстве, а где есть окна — заперты ставнями, крашенными в цвет глины. Повстречал удалую песню, за нею плелись два нижних чина 2-го батальона, хмельные; поприветствовались — разошлись.

Извилистая, подобно речке, улица, незаметно поменяла название: с улицы Кам — на улицу Эглиз. Впереди на пригорке оказалась церковь — это здесь: дом Контин перед самым подъёмом. Дом без ограды. Они были здесь, забирали вещи для лавки — вон из того сарая. Андрюша не стал въезжать во двор, проехал мимо, остановил самокат поодаль, отдышаться, оглядеться.

Между ним и церковной решёткой висел придорожный крест. Огромный, ка-

менный, изъеденный временем, он стоял на подставке, напоминающей русскую печь на пепелище, и в зеве той печи помещалась фигура какого-то святого. Неспроста он слушался тут, крест, ох, неспроста. Чужой крест, с лепестками резного камня на концах, смутил солдата: чужие люди здесь живут своей собственной жизнью, — зачем он им? Зачем Контин Андриюшин подарок? Здесь, под чужим крестом, подарок внезапно потерял своё волшебство и силу. Егоров почувствовал себя старым. Прежде, дома, он свистел под окнами милки, не прячась от соседей, и смеялся над кудахтаньем старух. Теперь он зорко, как лазутчик, уточнял обстановку. Теперь он расчётливо, как старик, продумывал дальнейшие действия: постучать и что сказать? А если будет не рада? А если откроет не она? С одной стороны военная осмотрительность удерживала ефрейтора на расстоянии. С другой стороны, сердечная нужда гнала его на встречу, он и помыслить не мог вернуться в лагерь, не повидав Контин. Бог с ним, с подарком, будь что будет. Егоров, словно из траншеи навстречу пулемёту, с гранатой цветов в кулаке, шагнул к дому.

Дом был старый, облупленный: городская штукатурка местами отпала, обнажив дранку. Крыша, устроенная трёхскатной, выглядела сдвинутой влево. Две двери, без крыльца, со двора вели сразу в дом. За большущим окном слева угадывалась комната, её скрывала кружевная занавесь во всё окно. Второе окно, с другого края, было заперто ставнями. Под окнами, на траве у дверей и даже на стене сарая — везде были цветочные ящики, но без цветов ныне. Зато сарай был ладным и даже красивым: широкие двери на длинных стрелах-подвесах висели на удивление ровно, стены сарая, обшитые дюймовкой внахлёт, не грешили щелями, больше того, они были украшены столетними тележными колесами — на каждом простенке по колесу, будто обереги. Спицы — восьмиконечный крест? Мраморный кот под кустом, — колдовство? Кем обернётся нынче Контин?

Окно все ближе. Ефрейтор уже не сомневался, что за ним наблюдают из окна, не

знал только — кто. Кружевная занавесь — отличная маскировка. Готовый к рукопашному бою, он поднял руку — постучать в дверь. И тут... Дверь открылась сама.

В начале Андриюша собирался подарить Контин платок. В его деревне так было принято. Баба принимала платок с важным поклоном, девка с глупым смешком. Засим подарок отправлялся в сундук и хранился там годами как память. И, как память, исчезал — незаметно, без боли... Баба, перебирая сундук летом, разворачивала платок, вздыхала, сама не зная о чём. Изредка надевала его на праздник — показаться мужику, и упрекнуть: забыл, что дарил?..

Но где в Шампани купить русский платок?

И как поднести его Контин, бойкой француженке в мужском кепи и почтальонских портках? Не, не поймёт, тут надо что-то другое.

Егоров не верил в ангелов. Но тут, верь не верь, майской ночью в распахнутое окно казармы влетел запыхавшийся ангел и с разгона шепнул Андриюше в лицо душистым шёпотом: кольцо! Андриюшка оторопел от счастья. Вскочил, волнуясь, сунул босы ноги в сапоги, пошёл до ветру, на обратном пути остановился посреди тропы и со значением перекрестился, глядя в небо.

Первое кольцо он сделал сам. Выпилил из латунной гильзы, раскатал до нужного размера, шкуркой выгладил, ножом нацарапал дорогое имя «КОНТИН», и лучики от имени влево, вправо прочертил. Хранил его во рту, за щекой, готовя в дорогу коня. Э-хе-хе...

Не проглотил кольцо, нет. Ангелу кольцо не понравилось.

Тогда Андриюша сделал второе, такое же, но имя поручил нацарапать Сёме Фомину. Малохольный опять заспорил:

— Зачем Контин дарить «Контин»? Давай напишем: «Андрей»! Мы же для неё пишем!

— Как-то неловко — «Андрей»... Не, не, пиши — «Контин».

— Дурак! — Сёму таким не видели. — Ну, дураак! Обморок дуропегий! — Он стучал

себе в лоб. — Подумай, что будет дальше: ты уйдешь на войну, она останется — с чем?! Одна, со своим именем, как дура. А так...

— Я понял.

— С ней будешь — ты...

— Я понял, понял.

— Будет ей, что целовать...

— Давай, давай, царапай меня на колечке.

— Будет чем ухажёров отпугивать.

— Прибью тебя, Фомин.

Сёма никогда не пробовал гравировать. Но видел где-то. Выбрал надфиль, новый. Наточил штихель, обмотал ручку толсто кожаной лентой. Надел целую гильзу на палку, заклинил палку и сел упражнять руку в гравировке. Андрюша заскучал, ушёл спать, на следующий день отловил Фомина — тот глаза прячет.

— Ну? Что? Потерял?! — всполошился Егоров.

— Да нет.

— Мать твою, да или нет? Говори что-то одно!

Фомин виновато швыркнул носом, полез в карман.

Кольцо было сплошь покрыто свежей, сверкающей, как золото, резьбой — ровные церковно-славянские буквы складывались в два слова: «АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ».

— Увлёкся маленько... — страдал Сёма.

— Фомин... — Егоров растерянно вертел кольцо.

— Ась?

— Бери мои сапоги. Яловые.

— Чо? Понравилось?!

Сёма сразу ожил, пустился показывать, где у него соскочил резец... Сапог он от Егорова не принял, до того был рад, что его пробная резьба подошла.

А первое кольцо Андрюха оставил себе. На мизинец — впору.

Контин открыла дверь навстречу гостю. Конечно, она видела его из окна. Открыла, страшно испугана, руки молитвенно стиснула и прижаты к груди.

— *Ке тиль арриве?*!

— Ничо, — механически отвечал Андрюша, нацеленный на вручение подарка.

Теперь обстановка была ясна: Контин — дома, она на расстоянии вытянутой руки. Мгновенный тактический план: пробным движением вручить цветы; если возьмёт — вручить кольцо; если примет кольцо — она моя! План превосходный, но что-то идёт не так. «Знать противника» — твердили командиры каждый день, чёрт, как они были правы! Знать противницу!

Внезапным движением противница выбросила вперёд руки, прижала тёплые ладони к щекам ефрейтора и опрокинула его смелый тактический план.

— *Одрэ*, — промолвила Контин певуче-укоризненно. — Ты страшный! *У тон суарьер?* Улыбка!

Маленькая ростом, она схватила большого солдата под руку и развернула к зеркалу. В её бедном доме рядом с дверью висело большущее зеркало, как во дворце. Андрюша впервые увидел себя во весь рост и смутился: пугало. Ну, что это за штаны? — старые, стираные солдатские портки никак не стыковались с новыми красивыми сапогами. Но хуже всего: лицо! — злое, как у сторожевого пса. Своё лицо Андрей давно не видел целиком — только частями в маленьком зеркальце, когда брился. В мирном доме, рядом с красивой бабой такой роже не место.

А её отражение стояло рядом с пугалом и ничего не боялось. Как скоро она приходит в себя! Андрюша прогнал смущенье: он тоже не промах — шагнул к безжалостному стеклу, приблизил к нему лицо и подкрутил двумя пальцами усы. Затем молодцевато развернулся к хозяйке и, отставив локоть калачом, как в кадрили, вручил букетик модке.

Та, рот до ушей, ответила быстрым *реверансом*, схватила букетик и запрыгала с ним, как с флажком, в одной руке, другой подхватив юбку.

Как дитё, — улыбался Андрюша.

— *Мари!* — звала Контин кого-то. — *Валё кавалье!*

— *Муа?*

— *Паз а туа! Муа!*

Из комнаты выглянула древняя старуха в пижаме.



— *О, кель гран сольда! Здравй желай.*

— *Бонсуар,* — пробасил Егоров и подмигнул старухе.

Та закашлялась смехом. Утащила букетик, поставила в кувшинчик.

Моя бабушка Мари, объяснила Контин, сейчас будем пить чай. Но чаю не дала — в компот налила шипучее вино, разболтала черпаком и разлила на три стеклянных чашки. Назвала чай — *крюшон*. Сидели под цветущим кустом, позади дома, пили эту дрянь как божий нектар, бабушка не уходила — играла старыми глазами, трогала птичьей лапкой то погон, то пуговицу *гран сольда*, потом ушла греметь посудой. Андрюша всё ждал случая вручить Контин свой знаменательный подарок, поцеловать, утащить к речке, повалить в траву, но загляделся на чародейку.

Она не размахивала руками, как это тут принято, она ворожила пальцами. То мелко раскатывала ими невидимую нить, то глядящим движением указывала на что-то, то топырила пальцы жестом «сдаюсь» — при этом она поднимала брови и тарасила глаза, а губами смеялась. В разговоре губы Контин танцевали незнакомый русскому танец, тонкий, точный и очень красивый, щедрый движеньями на каждое слово, танец. Губы то прятали голос, то распахивались, открывая белые, влажные зубы, то выпускали звуки через дудочку — оттого обычные звуки делались новыми, незнакомыми. Дожидаться повторения особо приятного движенья губ можно было очень долго. Андрюша следил заворожено, поражаясь: как я мог эти губы целовать?! И гордась: да, я их целовал. И ещё он избегал смотреть Контин в глаза. Они поддерживали танец губ, но в их глубине стаями ходили неизвестные мысли, отдельные от слов. Иногда мысли Контин совпадали со словами, чаще — нет, в её глазах появлялся непонятный вопрос, и тогда Андрюша отзывался — поспешно, невпопад посылал ему самому не понятный ответ. А то вдруг искрилось лукавство, которое Андрюша читал как ложь, и ему немедленно вспоминался подпоручик Белореченков, делалось неуютно и смертельно скучно.

Но в глазах Контин уже стояла радость бескрайняя, брызжущая светом, и всё, на что падал тот свет, оживало и пело — Андрюшина рука, чашка, сердце...

Чашки были фарфоровые, весёлые чашки, — Андрюша совсем отвык от обычной домашней посуды. А того света он и не видел никогда.

Позади Контин зеленела цейлонской лианой каменная стена дома. Рядом с Андрюшей кудрявилась живая изгородь, плотная — руку не просунуть. С другого боку высилось старинное каменное корыто с землёй, засеянной цветами. Андрюша рассказывал хозяйке, как выглядит старинная русская изба. Чтобы удивить, показывал руками, на какие корявые корневища ставили плотники избу, чтобы не подгнили венцы, — ни дать не взять, куриные ноги. Он таинственно понижал голос, не к ночи поминая: Бабу Ягууу... Контин от его раскоряченных лап и первобытного гуда обмирала и переставала дышать, озиралась, ища маму. После хлопала в ладоши, ликуя от переживаний.

Вдохновлённый успехом, Андрюша разыграл сказку, как Солдат по царской воле отправился за леса, за моря, на кудыкину гору, в царство Кайзера Кощя — выручать заколдованную Царевну. А та обернулась: Бабой Ягооооо!

Ефрейтор вспомнил о подарке, уже когда садился на велосипед. Контин устала, и он устал. Вытащил из кармана узелок с кольцом.

— Мой подарок. — Вручил и прочитал по бумажке: — *Лё сине де лямур.*

Поцеловала.

Русские освоились в Шампани. Командир полка, дислоцированного в лагере Мэйи, делал всё возможное для сохранения дисциплины в подразделениях — строил ограждение вокруг казарм, ввёл систему пропусков, пешее патрулирование в окрестных коммунах и конные разъезды на дорогах, практиковал показательные суды над нарушителями и негласные телесные наказания. Но строительство ограждения шло всё медленнее, а в уже построенном

полотне появились многочисленные про-  
рехи. Жандармов полковнику Колосову  
французы не давали, а свои полковые па-  
трули изоляцию не обеспечивали — никого  
не ловили, с патрулирования возвращались  
гружёные напитками, снедью, скабрёжными  
записками и картинками.

Балы в офицерском собрании скоро по-  
теряли романтический флёр. Стремительно  
падал уровень дамского контингента. Бли-  
зость фронта и сжатость сроков ускоряли  
любовные отношения до бесстыдства.

Нижним чинам приходилось труднее.  
Напряжённая боевая подготовка не могла  
занимать солдат круглые сутки, чинам тре-  
бовался отдых. Но отдыхали ребята все по-  
разному.

Так, при попустительстве коменданта  
Мэйи майора Бельбуша, по прозванию Жак-  
Блондин, сразу в двух поселениях — Мон-  
тепрё и Труане — открылись частные сол-  
датские бордели. А в один воскресный день,  
сразу после молебна, прямо на территорию  
лагеря въехала мотоцибитка с красными  
крестами на бортах и проститутками внутри.  
По команде толстяка-сутенёра, наряжен-  
ного в белый медицинский халат, к пере-  
движному борделю выстроилась очередь  
желающих за умеренную плату справить  
мужицкую нужду.

Предприимчивый толстяк, которого  
русские сразу прозвали Батей, торговал  
билетами и следил за порядком. Внутри ко-  
мандовала старуха-санитарка, Мама: в там-  
буре надлежало снять ремень, фуражку и  
спустить портки; сапоги снимать не обяза-  
тельно. Тут же рукомойник — обмой удову  
лысину марганцовкой, и иди за ширму. Там  
на двух кушетках, слева и справа, лежали  
сырыми котлетами две пьяные бабы неиз-  
вестной национальности. Изголодавшийся  
парень, путаясь в спущенных штанах, падал  
на одну из них и давал волю натуре. В обя-  
занность работниц входило утирание лона  
сменным полотенцем, и больше ничего. Они  
исправно терпели, но обслужить полк за  
одно воскресенье им не удалось. Известие  
о похабном десанте дошло до командира  
полка, и он эту практику запретил, несмо-

тря на все доводы Жака-Блондина. Доводы,  
кстати сказать, были достаточно резонные.

От частого повторения лозунг «За Веру,  
Царя и Отечество!» поистерся, и жизнь ребят  
в цветущем краю стала совсем скотской —  
беспричинной и безнадёжной. Каждый день  
кого-нибудь секли. Каждую ночь кого-ни-  
будь ловили. Секли и ловили сами же братцы.  
Так была устроена жизнь, что тут сделаешь.  
Душа в трубочку: солдаты кормили орешка-  
ми белочек и плакали о родине. Почтовое  
сообщение для них не придумали. В каждом  
бараке жил щеночек, или козлёнок, или при-  
ёмный мальчишка-сирота. По вечерам чины  
навещали медведя Мишку, раскормили его  
до безразличия, он уже и мяса не брал. Сказ-  
ка про любовь Андрюши Солнушка к Царевне  
Контин ходила от костра к костру, из барака  
в барак, волнуя кровь новостями, всегда вы-  
мышленными, всегда возвышенными. И не  
важно, что «царевна» была не юна. Братство  
гордилось своей сказкой, берегло её, как на-  
тельный крестик. Андрюше подбрасывали в  
сидор сахар, махру, зная, что он не курит и  
сахар не ест, но вот поди ж ты — делились.

Герой — не герой, тут все герои: каж-  
дый пятый в строю Георгиевский кавалер —  
гранату прям с крыльца к немцам закинет.  
Но то — отличие военное, а у Солнушка —  
человечье. Все наши дружат с французами,  
да только дружба та доходит до рубежа и  
буксует: непонятные они, французы, улиток  
едят. И вот один из наших сумел проникнуть,  
перекинуть мосток. Баская сказка — жизнь:  
вон она, вон — пошла Контин в лавку.  
А вот — Андрюша, рядом сидит, чай при-  
хлёбывает. Вглядывались исподтишка в лицо  
Андрюшино — что в нём особенного? А ни-  
чего. Такой же, как и я. Вот и славно. Живём.

Берегли сказку, охраняли Контин, иные  
вовсе перед нею шапку ломали.

Андрюшка, тот отмалчивался. Ходил  
в лавку, ящики двигал. Ездил по вечерам  
к своей «царевне». Что там делал, никому  
не рассказывал — братцы с лица читали и  
сами сказку ткали.

А про что ему рассказывать-то? Про чай  
с *конфитюром*? Про рук мановенье? Сколь-  
ко горечи в том варенье — никто не поймёт.

На утреннем разводе взводный Белореченков прочёл из блокнота наряды, наорал на сонного Шабалду. Потом вынул из планшета два листочка и вызвал:

— Ефрейтор Егоров!

— Я!

— Выйти из строя.

Андрюша, не чуя западни, сделал два шага вперёд.

Подпоручик, без крика, мирно подал ему бумаги:

— Предписание тебе: на две недели в унтерскую школу. Бери вещи и — на станцию. Через полчаса поезд в Шалён. Вот продаттестат — держи, чего смотришь!

Лучше бы в морду дал.

Через полчаса лагерь опустел, Андрюшу увёз поезд. Проститься с Контин он не успел.

Унтерская школа, куда сослали влюблённого Егорова, размещалась в реквизированном доходном доме, в центре шампанского Шалёна. Каменное строение в два этажа, внизу классы, наверху спальни — четыре пружинные койки в номере, четыре *табле де шуве*, один стол на четверых. Товарищи, трое из разных батальонов, ребята дельные. Кормили в *кафе* по соседству, из белых тарелок; первые дни водили строем, на второй неделе строгости ослабили. Кормили досыта, хотя вместо чёрного хлеба давали белый колобок. *Туалетт* — смывной: цепочка с бронзовой гирькой, её потянешь — вода за тобой всё смоеет. Гирьку в конце курсов кто-то снял себе: драться. В наряде на кухне плавил свинец, отливали свинчатку: драться. Драться. Каждый готовился к большой драке.

Строгости ослабили сами собой, когда стали преподавать тактику боя. Кроме огневой подготовки, учили военной топографии и санитарному делу, а также письму и арифметике — пропорциям, дробям и процентам, много чего. Переводили из аршин в метры. Учили фортификации: *бастион*, *фас*, *куртина*, *орильон*. Особенности проволочных заграждений и минных полей в русском секторе фронта. Двухгодичную

программу, ввиду особой спешки, сжали до четырнадцати дней.

В 1916 году Западный фронт был насыщен новыми техническими средствами значительно больше, чем русский. Здесь применялось автоматическое оружие, ружейные гранаты, отравляющие газы, бронеавтомобили. Складывалась новая, групповая тактика. Треть личного состава французской армии составляли специалисты — пулеметчики, гранатометчики, фейерверкеры, связисты, пиротехники. Отборной русской пехоте отводилась штурмовая роль и ночные вылазки в ближайший тыл противника.

Никакой шагистики в унтерской школе, каждый день — *полигон*. Там настоящие огневые точки, настоящее окапывание по колено, по грудь, и перебежки. Перебежки и переползания. Всё бегом, занятия бегом, туда и обратно — бегом. На перекурах с курсантами работали офицеры наставники — отвечали на все вопросы: о Боге, о Театре военных действий, о сифилисе — повоенному коротко и напрямик.

— Мы — *Антанта*: Россия, Франция, Великобритания. Они — *Тройственный союз*: Германия, Австро-Венгрия, Италия. Они на нас напали в четырнадцатом. Прорвали русскую оборону в Польше, прорвали французскую оборону в Бельгии. В ответ наш Государь Император лично возглавил войну, и русские войска перешли в наступление в Белоруссии. Французы тоже молодцы — остановили наступление немцев перед самым городом Реймсом, сорок вёрст отсюда.

Прямо на траве наставник — поручик Ильин раскладывал карту, показывал:

— Вот линия фронта — от Северного моря до Швейцарии.

— А где Россия? — сразу два голоса.

— Вот, — с готовностью отвечал Ильин. И его готовность, и неотступное его присутствие на каждом перекуре наводили Андрюшу на мысль о приближении какой-то неизвестной беды. Немолодой поручик не задира нос — был деловит, следил, чтобы поняли, — отношение небывало серьёзное. От этого делалось не по себе.

— Вот Восточный фронт. Вот Западный: семьсот вёрст. Германцев надлежит с двух сторон прищучить — с востока и с запада.

— Так точно.

— Мы — на Западном. Наше дело — вот тут.

Чубатые головы сближались над картой.

После полигона, сразу, едва командовали построение, на Андриюшу опять наваливалась тоска, будто толстая, тяжёлая, горячая крыса с острым жалом. Её можно было скинуть, и Егоров скидывал — строевой песней, громким разговором, смехом. А она опять, скребя когтями, лезла на грудь и жалила, жалила и кровь пила. Не так надо было вручить кольцо Контин, не так! Объяснить надо было, что к чему. В глаза заглянуть. На палец надеть. Дождаться ответа...

Следующей ночью пришла крыса-ревность, зашипела: бросила Контин твой солдатский подарок в речку, с офицером ушла. Сейчас рассказывает ему про солдатские ухаживания, кольца свои любовнику кажет; десять колец и серьги от разных ухажёров. Смеётся. Убить её из ружья! Пульку за пулькой садил Андриюша в поясную мишень на полигоне — зло радовал.

И вдруг неожиданный кто-то — ангел? — командует: бежать! Лететь к ней, любушке! А как? Тут-то и заработала у Егорова настоящая смекалка, унтерская. Военная наука, она не в цифири и аксельбантах, а в дерзкой воле побеждать. Новая школа образовала из него унтер-офицера в три дня: освободила ум. Стал Андриюша строить план взятия крепости Контин по всем правилам военной науки. Первое дело: связь. Телефон. Голос услышать, и сразу будет ясно — бежать, лететь или на месте сидеть.

Контин закрывала свой бутик поздно, часов в одиннадцать. Возвращалась одной одна, на двуколке или на велосипеде. Русская пехота скоро уедет, надо быстрее торговать. Ночи светлые — дорогу видно. Боялась ли она в одиночку? Неизвестно.

Однажды вечером, часу в десятом, её неожиданно позвали к телефону на пост дежурного по роте. Контин вежливо выпро-

водила волокиту, застрявшего в её лавке с жеманным разговором, заперла дверь и простучала каблуками к телефону.

— *Алю? Ки?* — В трубке трещало. — *Ондрэ?!..*

Она вдрызг заплакала.

У Андриюши выросли крылья, как у сокола-орла, и брови сомкнулись. Хорошим голосом ответила Контин, можно спокойно сидеть на месте. Но он полетит к ней. И никто ему не помеха.

Вечером тут костры не жгли, так сидели вокруг пожарной бадьи, курили. Приходил духовник, сказку сказывал про Ванюшу-воина, как он германца побеждал, огонь и воду прошёл, ранен был врагом, но силой веры православной и волей Божию всё претерпел и снискал славу и благодарность потомков на все века... Андриюша в это время брился и снаряжался в самоволку: надел новую форму, какую в унтерской школе выдают: зелёный китель-полушерсть, синие штаны галифе, новую фуражку — зелёную, с лаковым чёрным козырьком и жёлтой новенькой кокардой. Носки нитяные, синие, и свои любимые сапоги яловые, блестящие. Ремнём новым, пахучим, подпоясался и выступил тайно, под покровом сумерек.

Было зябко, луна красовалась кокардой. Сапоги с берестой скрипели, как две собаки, подковки цокали, Андриюша нырнул в тень, стащил сапоги, носки, — босой бесшумно дунул на станцию. Хорошо учат пехоту. Взлетел на крышу вагона без шума, распластался. Тут и поезд тронулся, колёса застучали по узкой французской колее. Через полчаса с отбитыми боками, занемевшими ногами слез с крыши на станции Мэйи — чёрный от сажи, хоть возвращайся. Что делать? И вернулся бы, но — куда? Обратный поезд — в шесть. В роту нельзя. Под кустом заночевать — холодно, заколел на ветру-то... Побежал вперёд, всё равно уж.

Три версты, в сапогах, единым духом. Взопрел. С оглядкой прокрался во двор, давя в груди дыханье, стукнул ногтем в окно два раза. Потом ещё два.

Вздрогнула занавеска, отворилась дверь — тёплая, с постели, Контин упала на Андриюшину грудь, чёрную от паровозной сажи.

Он целовал её волосы и руки, кружил, не попадая в двери. В прихожей она стащила с него сапоги, один за другим, с нестерпимой грацией. Он расстегивал ворот, стаскивал китель через голову и опять видел её, прекрасную, замаранную его сажой — близкую.

Одна секунда первого касания, и она стала родной.

Чужие, непохожие речью, из разных стран, они совпали сразу — в движении, в дыхании. Андриюша будто на родину попал. Такой короткий путь?

Как он стосковался по ней, по родине! До стога. До воя.

Обратно, в Шалён, он ехал на паровозе. Машинист разинул рот и не нашёл что возразить, когда к нему в кабину влез ловкий гайар в русской форме, чумазый и весёлый, заговорил с ним по-французски так запросто, будто они были всю жизнь знакомы.

Перепутал с кем-то из своих друзей, решил машинист. Он любил пошутить — подыграл парню, да и увлёкся. Ондрэ, перекрикая машину, интересно рассказывал про пароход и флотских мотористов. Не все слова были понятны, но когда Ондрэ отнял у второго номера лопату и покидал уголь в топку легко и равномерно, остатки недоверия с паровозников будто сдуло. Не заметили, как прибыли в Шалён. На прощанье пожали руки, обнялись даже. Паровозный расчёт, удаляясь, кричал Андриюше весёлые пожеланья.

Жандармский патруль, идущий по следу беглого ефрейтора, с примкнутыми штыками поднимался по ступеням унтерской школы, когда Егоров влезал со двора в окно умывальни. Команда на построение застала его в одном исподнем. Не видя в строю Егорова, командир учебного подразделения подполковник Зубков, дважды распускал чинов и собирал снова — тянул время. Жандармский начальник, француз, стоял рядом с ним и делал единственно возможное — криво улыбался, давая понять, что он не дурак, понимает русские хитрости. Вот Егоров, пере-

одетый в чистое, образцово заправленный, подбежал и третий дубль команды «Становись!» выполнил вместе со всеми. Далее всё по уставу — перекличка — «...Больных нет, незаконно отсутствующих нет...» — «Вольно, выходи на завтрак».

Жандармы, щёлкая зубами, не солоно хлебавши покинули казарму. Братцы шли на завтрак, посмеиваясь: пойман — дезертир, не пойман — герой. Один хлопнул Егорова по спине:

— Красивая хоть?

Потом она приехала к нему в Шалён.

Андриюша и не мечтал об этом, да только глаза сами шарили по сторонам. Теперь не в облаках они видели её, а тут — то под окном, то в проезжем авто. Вот она сидит рядом с Андриюшей в учебном классе, он чувствует её тепло. Вот она с ним на полигоне, лежит рядом с Андриюшей в пыльном окопе, он видит её восхищенье. Он метко стрелял, далеко бросал гранату — для неё. Оттого не удивился, а обрадовался бурно, когда увидел знакомое кепи наяву.

Было воскресенье, всю школу отпустили в город: кто-то сорвался сразу, а Андриюша остался на молебен — за это Бог наградил его встречей.

Андриюша и Контин гуляли по прифронтовому городу, не разбирая дороги, как пара лунатиков.

В отеле мест не было. Их приютила до вечера мадам, и так вышло даже лучше. Были плотные, синие, как ночь, занавеси на дверях, с золотой бахромой и кистями, — для маленькой комнаты великоваты. Было очень тихо, все звуки приглушены, свет приглушен — как под одеялом. Подушки с мерзками на углах, перина. Андриюша скоро убедился, сколь неудобна эта восхитительная перина; ковёр лучше; они обнимали друг друга на ковре. Был чай в расписных чашках, сладкие пирожные.

На обратном пути в казарму Андриюша рассказывал про семью — сестёр, знаменитого своей суровостью отца, мать тоже вспоминал. Дом.

Контин слушала и молчала.

Андрюша обеспокоенно оглядывал её, не зная, что думать. Покорённая страна таяла, как сингапурский мираж. Его новые позиции на завоёванной территории исчезли.

Егорова учили отступать организованно. Он не стал паниковать, допытываться. Он закончил свой рапорт о родине и замолчал обиженно.

— У меня нет мужа, — неожиданно произнесла Контин. — Ты об этом хотел спросить?

Андрюша ожил: да, он давно хотел спросить, он много хотел спросить, он многое хотел...

— И любовника у меня нет.

— А Белореченков? — полыхнуло у него из груди, аж дыханье заперло.

Контин весело рассмеялась:

— *Ооо, лейтенан Оперетт! Ну, ну, ну.* У меня есть ребенок.

— Анфан? — не веря своим ушам, переспросил Андрюша.

— *Уи, уи, анфан. Фи де труз он.* Дочка.

— У тебя?

— Да. Её имя — Анжу. Ей три года.

— Анжу...

— Её отец грек.

— Это ничего, — бормотал Егоров, теряя позиции одну за другой. — Это ничего.

— Она живёт в Донтриене, — Контин махнула рукой на восток. — Там мой дом. Там моя сестра. Работа тут. Бабушка тут. Прощай.

Контин чмокнула Андрюшу в щёку, развернулась и... ушла.

Ефрейтор не понял. Он решил, что его спутница отлучилась по нужде. Стоял, как на часах, ждал. Потом кинулся спасать, думал — пристали насильники. Обыскал окрестные переулки, добежал до мадам, думал — Контин там что-то позабыла. Вернулся обратно, скуля, как пёс. Контин исчезла.

Андрюша разозлился и потопал в казарму.

## Кровавая пашня

17 июня 1916 года, русский контингент занял отведённые ему позиции на Западном фронте Европейского театра военных дей-

ствий. Русский сектор находился к востоку от города Реймса, примыкая своим правым флангом к реке Сюип, близ деревни Оберив.

Отсюда только что ушли на отдых остатки французских полков, оставив на передовой линии караульные посты для прикрытия, а точнее — для имитации присутствия солдат на передовой позиции. Голова русской колонны застала хвост уходящей французской армии, потрёпанной боями. Братцы во все глаза глядели на серые от пыли мундиры союзников, всматривались в серые лица, силясь угадать свою судьбу. Французы молча брели мимо, не блюдя ранжира, и равнодушно глядели в землю серыми пустыми глазами. Отборная русская пехота рядом с ними выглядела великанской. Сами, без команды, ребята ровняли шеренги и брали ногу, страшась судьбы французской и отстраняясь от неё всем своим внешним видом: мы не такие.

На передовой позиции русских солдат ждали приятные *сюрпризы* — глубокие, до полусотни ступенек, землянки, прочные деревянные перекрытия, ходы сообщения, ведущие к линиям обороны. Оных в этом месте было выстроено четыре — четыре линии окопов, разделённых противопехотными заграждениями. Французы оборудовали свои окопы ступенями для стрелков, стальными брустверами с бойницами. Перед траншеями были натянуты проволочные заграждения, достигавшие в ширину тридцати сажен. В ближнем тылу располагались блиндажи с кухнями и лазаретами, подземные склады боеприпасов, бетонные пулемётные гнёзда, колодцы и отхожие места. Ребята дивились: солдатские норы имели крепки, как в шахтах, между крепями на настилах лежали матрацы для нижних чинов. Общий стол, сколоченный из досок, керосиновые коптилки для освещения. Отдельная унтерская комната на шестерых офицеров, украшенная цветными картинками, — в ней Андрюша обнаружил початый ящик ручных гранат.

Унтер-офицер Егоров числился в том же своём 4-м взводе 2-й роты 1-го полка резервным командиром, водил отряды на разовые задания по хозяйственной и слу-



жебной надобности. Задания каждый день ставились новые. Он облазил все траншеи, не переставая восхищаться обустроенностью, приметой длительной позиционной войны — указателями на перекрёстках ходов сообщения с надписями на французском и русском языках. На наблюдательном пункте видел зрительную трубу. Заглянул: там линейка дальномера, а за нею мирная с виду грядка — германский бруствер, близко-близко. В офицерских землянках видел ванны и бильярдные столы.

Видел и другое: следы пуль и осколков, перебитые фугасами брёвна, свежую щепу, обрывки обмундирования. На ничейной полосе видел санитаров, собирающих что-то в окровавленные мешки.

Это было в первый день. Офицеры французской службы растянули подразделение Белореченкова по линии обороны. Артобстрела не было; атаки не ждали. Снайперы изредка постреливали по окопам противника, после каждого выстрела переходя на новое место. Им изредка отвечали с той стороны.

Дозорный на приступке, рядовой Шабалда, опасливо заглядывал в смотровую щель между мешками с песком и тихо матерился себе под нос. Унтер Егоров поднялся на приступок, подвинул дозорного.

— А ну, пусти.

Заглянул в смотровую щель.

То, что он увидел, поразило его. По вспаханному войной полю там и сям, не обращая внимания на выстрелы, бродили какие-то люди, числом двенадцать, в нашей и не нашей — смешанной форме, с белыми повязками на рукавах. Бродили подобно грибникам, наклонялись, шарили по земле и складывали в мешки чьи-то брошенные сапоги... Андрюша похолодел — из сапог свисало блестящее от крови тряпье и торчали кости.

Один шёл прямо на Андрюшин окоп. Тело его закрывал грязный фартук, руки — нарукавники, а голову венчал... шталхельм, немецкая каска! Белые гляделки нагло пучились из-под козырька, вызывая торчал шишак, — в точности, как у кайзера

на плакате! За плечом он держал страшный мешок, как у ихнего Деда Мороза — Вайнахтсмана.

Егоров потянул с плеча фузиль. Щёлкнул затвором.

Немец услышал щёлк, остановился. Хладнокровно поковырял землю сапогом, высморкал нос и не спеша побрёл со своим мешком обратно. Там, на середине ничейной полосы стояли санитары, свои и чужие, они курили вместе.

Андрюша сошёл на дно траншеи в сильном замешательстве: они курили вместе — свои и чужие!

Война — это много тяжелой работы и маленько отдыха в дозоре. Пехота без конца разгребала завалы в траншеях, копала новые, копала, копала... Стаскивала в раскопы трупы лошадей, оставленные французами. Приезжали санитары на бочках. Они надевали противогазы, рукавицы, ведрами плескали в скотомогильник какую-то гадость, от которой слезились глаза, уезжали. Солдаты, зажимая дух, поспешно засыпали землёй конскую могилу. Таскали фураж коням живым, тёплым, чистым. Таскали провизию кухням солдатским, добрым. Таскали дрова, воду. Унтер тоже подхватывал помаленьку, главное дело его было — надзор за работами. И скорый разбор солдатских жалоб: тому пальцы прижало, тот портянку жжёт, тот сел и сидит — почему такое?!..

Первый обстрел тяжёлой артиллерией германцы начали по расписанию — в понедельник, семь утра. И первый же тяжёлый снаряд попал в Андрюшин окоп.

Поначалу немецкие пушки били в стороне, там же ответный огонь открыли французы. Унтер Егоров выглянул из укрытия для контроля обстановки.

И тут молча выпорхнули облачка порохового дыма из замаскированных капониров напротив. Следом раскатился гром пушечного залпа. Андрюша спрыгнул с приступка и залёг на дно траншеи, как учили, — подтянув ноги-руки, вцепившись в поля каски-адреанки. Он слышал, как по небу летела

смерть, он ждал «подарка» сверху, а его ударила земля, снизу. Это было нечестно, не по правилам, вопреки здравому смыслу: земля хранит пехоту — как она может ударить? Как она смеет?!.. В большой обиде Андрюша подлетел к небу, обнаруженный, готовый к битью влёт, как тетерев из-под снега. Но подлетел не высоко, рухнул вместе с комьями в траншею.

Остальное — без него.

Бред: Андрюша сразу встал и пошёл, но палуба ушла из-под ног, он повалился на братцев, кто-то закричал страшно. Очень жарко было в трюме, но Контин принесла воды, Андрюша попил и уснул. Очень долго приходил в себя. Не мог понять, как посреди Индийского океана очутилась Контин. Казалось, его пароходом везут домой. Проморгался — ан нет, он на суше, легкораненый: контузия и резаная рана на лодыжке. В кузове грузовика он у борта, трясётся по дороге долго-долго. Долго, долго пытаются черти, трясут его больную голову. Не помнит, как привезли. Очнулся на железной кровати, на белом белье, и вокруг все незнакомые лица. Очнулся Андрюша в Париже.

На какой-то его вопрос, который он сам не расслышал, ему ответил неизвестный братец в бинтах:

— Ты в Париже. — И засмеялся праздничным и горьким смехом.

Андрюша хотел глянуть на Париж, но тут же застонал: от движения глаз боль вступила в голову, закружила комнату до тошноты.

Прошло время, пока утихла боль, и глаза открылись.

Париж выглядел так: на пожелтелом потолке — бредовые картины трещинок. Их надо разгадывать, тогда они складываются в лица и фигуры людей, в контуры лошадей, в батальные сцены из чужой жизни. Застывшие картины хрупки, капризны, они пропадают из виду, и стоит большого труда отыскать их заново. Для чего? Неизвестно. Но потребность собрать из трещинок что-нибудь целое сильнее Андрюши. Он прикрывает глаза, а они открываются сами и против воли шарят по потолку, шарят, ша-

рят. Он вынужден за ними следовать и разгадывать картины, и запоминать, где они находятся, чтобы вернувшись, не начинать всё снова. А тут ещё эта лепнина. Выпуклые изгибы с остатками позолоты, извивы серых растений, прилепленных по краю потолка, толстых, мёртвых, чужих. Они подчёркнуты понизу карнизами, убийственно прямыми. Париж.

Русские голоса. Один баит сказку:

— Вот немец захватил наших в плен. Обманом. Нарядился санитаром: белая повязка, сумка. И захватил в плен наших: русского, француза, англичанина и бельгийца — четверых. Связал им руки сзади верёвкой и привёл к ручью. Первого, бельгийца, макнул в воду и за ноги держит. Тот с испугу помер, бедняга. Второго, англичанина, макнул. Тот заранее воздуху в грудь набрал и дёргался очень долго, после затишья, захлебнулся. Третьего тащит. Третий, француз, сам воздух выдохнул и утопился. И вот хватает немец последнего, русского, и к воде тащит. А русский уже понял свою судьбу, и руки-те расслабил. Он здоровый был, жилистый, верёвок ему на руки много намотано, да только, когда вязали, он натужился, а когда на казнь потащили, он руки-те расслабил. Вот — так.

В сумраке поднимаются руки, они двигаются. Крик из угла:

— Не видно!

— Ну, вот, вот! Вишь, рука тоньше стала. И верёвки те стянул, пока друзей казнили. А как его немец поволок, русский встал, обернулся к немцу и руки расставил, как медведь. Ууууу, — изображает медвежий рёв. — Немец со страху в портки надул и сам в ручей кинулся, чтобы поскорей утопиться. Но русский его левой рукой уцепил за шкуру, правой взял за ноги, раскрутил над головой, праще подобно, и как шмякнет мордой об осину! Полголовы слетело. Ещё раз — как шмякнет! Вся голова отлетела. И ещё раз! Руки отлетели. Да ещё! Тушка по пояс долой. В руке одна жопа осталась, он её кинул за море и домой пошёл спать.

Тихо стало. Каждый обдумывал, как он будет руки жить да потом слабить...

— Данилов, Капитонов, Назин — *сюр ле понсимо! Але!* — командует девичий голос у дверей.

Поднимаются фигуры, накидывают поверх исподнего синие халаты, выходят.

Возвращаются обновлёнными и натабаченными.

Андрюшину ногу перевязывают в палате. Приходит белая монашка, маленькая старушка с перевязочным материалом на подносе, она здороваётся, выкликает фамилию: Егоров, и просит:

— Покажите ног.

Когда она уходит, братцы добродушно передразнивают её: *Покажите ног.*

На койке слева сидит Данилов, у него бритое лицо и грамотная речь; его уважают в палате, величают Иваном Филиппычем. Прапорщик медслужбы 2-го полка, из попов, он в тылу словил шальной осколок в спину: стоял над «разделочным столом» — и вот, чиркнуло. Второй месяц в госпитале; выздоравливает.

Из разговоров Андрюша понял, что сейчас на фронте затяжелело — каждый день прибывают новые раненые, в большом количестве. Рассказывают про новую тактику германцев — ночные нападения штурмовых отрядов в три-пять человек. От них большой урон.

— Так вот — Пискарёва хоронили! — заговорил Андрюша оживлённо, вспомнил: — Его ночью закололи!

Все обернулись на его голос. Раньше с его койки слышали только стоны.

Андрюша ночью думал. Перечислял в уме, кого он любит: врачей, мотористов, француженок... Он после сотрясения головы перестал обижаться на Контин за то, что она его бросила перед самым фронтом. Сёма Фомин прав: ты уедешь воевать, она с чем останется? Андрюша начал думать о ней, о её жизни. О её ребёнке: она — мать. У неё дочь от грека. И у неё кольцо от Андрюши. Мешают ли друг другу дочь и кольцо? Две драгоценности: в одной руке дочь, в другой руке кольцо — это лучше, чем одна драгоценность? Или нет? Может, его коль-

цо — никакая не драгоценность, медяшка? Этот вопрос докучал Андрюше всё более.

Ночевали плохо. Духота, комары, храп, тихие стоны и вскрики раненых. Стоны далёкие, стоны близкие, они сливались в один сплошной гул русских и нерусских, толстых и тощих голосов, подобия телячьего мыка и бабьего плача. Казалось, они поднимают на штыках весь госпиталь, вместе с картинной галереей. Луна заглядывала в окно с недоумением. Нету, что ли, на небе больше никого?

— Морфий, что ли, у них кончился, — поднялся с койки Данилов. — Егоров, айда курить.

Оба некурящие, они, как были в исподнем, вылезли в окно, прошли по карнизу и спустились по верёвке на землю. Толстые верёвки с узлами тут и там свисали из окон госпиталя, караульные их срезали — они волшебным образом появлялись вновь.

Легли в траву досыпать. Тут не так слышно стоны. Стоны...

— Адов огонь — страшная вещь, — пробормотал Андрюша. — Миазмы.

Ему нравилось это слово.

— А почему доктора не болеют?

— Болеют, — ответил Данилов. — Ты не уходи без меня, Егоров, пособишь в окно залезть, а то у меня спина.

— Беспременно. Иван Филиппыч, ты смерти боишься?

Данилов подумал.

— Нет. Я боли боюсь.

— А почему в сказках боли нет, а смерть есть?

Данилов научил Андрюшу особому паролю — для русских начальников. Слово это: *ходатайство*. Трудное слово, но верное.

Штука в том, что исцелённым русским пехотинцам давали три дня отсыпных после госпиталя, если им есть где поспать в тылу. Надо всего лишь заявить *ходатайство о вписании в предписание адреса пребывания*, — это полный текст заклинания. Тот нижний чин, который сможет произнести сию абракадабру, может надеяться

на награду — трёхдневный отпуск и деньги на дорогу. Так сказал Иван Филиппыч. Который не сможет, тому шиш под нос. Ему, валенку, свободы не видать. Ему, миките, свобода вредна потому что — будучи отпущен, он заблудится и бед натворит.

— Разрешите заявить ходатайство о вписании в предписание адреса пребывания, — повторял шёпотом Андрюша, чтобы выучить пароль. — Заявить ходатайство о вписании в предписание адреса пребывания.

Голова разболелась от злости.

Бумажку бросил.

В строевой части госпиталя Андрюша смутил громогласным представленьем пожилого одышливого поручика. Тот велел не орать тут, не пугать писарей.

— Вольно, унтер. Чего надо?

— Я к вам с прошением, господин поручик.

— Говори.

— По пути на фронт к жене завернуть: коммуна Пуавр, Шампань, улица Эглиз, дом восемь.

Военный начальник в нерешительности поправил портупею.

— Три дня — и я на передовой позиции, иду в атаку. Ребёнка хотим заделать, господин поручик.

Пожилой штабист от неожиданного признания рассмеялся высоким, спотыкающимся смехом:

— Три дня ребёнка делать?! Ты ж русский воин! Минуты хватит!

— Полминуты, ваше благородие! — подержал шутку Егоров и прибавил тихо: — Дорога туда, дорога сюда, подарок генералу купить, — вот и три дня.

— Что т-ты врёшь, унтер, — подарок, — оборвал поручик. — Дождешься от вас.

Однако повернулся к барьеру и распорядился:

— Семёнов, посмотри там предписание унтер-офицеру Егорову подписано?

Штабной чин порылся в бумагах.

— Никак нет.

— Почему?! Через полчаса транспорт! Перепиши дату прибытия: плюс три. Адрес пребывания? — полуобернулся к Андрюше.

— Коммуна Пуавр, Шампань, улица Эглиз, дом восемь, — повторил тот.

— Имя, фамилия жены?

— Контин Егорова.

Судьба смекалистым благоволит. Командиры ловких ценят. Через два часа оказия — грузовой автомобиль «Пежо» с белыми крестами на бортах и двенадцатью пустыми гробами внутри кузова доставил отпускника в Реймс. Дальше поездом, через Шалён, в Мэйи. Оттуда бегом — в Пуавр.

Бежал по щебёнке и думал — вот выйдет навстречу душенька Контин из-за того поворота. Увидит, побежит, на грудь падёт, заплачет, как в тот раз. Или: вот сойдет душенька Контин с порога дома нашего, засмеётся счастливо, покажет руку — на пальце колечко с именем «Андрей»... Сердце Андрюшино билось, ноги не касались земли — так спешил.

И правильно делал, ещё быстрее бежать надо было. Потому что там, где Контин, — дым, крики! Пожар! Унтер скачками туда, видит — сарай с товаром горит! Безумная старуха Мари в огонь лезет, визжит, Контин кричит, старуху держит, под ногами у ней ведро брякает, наполовину расплёсканное.

Унтер подскочил, из ведра выплеснул воду на старуху и бегом под гору с пустым ведром, по пути вытряхнул мусор — второе ведро прихватил. По кустам напролом, влетел в речку с разбегу, зачерпнул раз и два, и бегом назад. Там порядок: старуха, мокрая курица, сидит на дороге тихо и только носом водит вправо-влево; мокрая Контин из горящего сарая коробки с печеньем вытаскивает. Сбил пламя двумя ведрами. Ещё двумя дым унял.

— Успели, — прохрипел, гоня воздух через разинутый рот. — Не шибко занялось.

Товар затащили в дом, рассовали по углам. Без суеты, дружно. Старуха Мари увлечённо помогала молодым.

За супом Егоров доказывал Контин, что это — поджог, обыкновенное в России дело.

— Ну, ну, ну, — смеялась маркитанка. — Русские меня любят.

— Значит, местные — соседи подожгли.

Контин отмахивалась. Потом задумалась. Стала расспрашивать, где нынче стоят русские войска.

Вычистила для Андрюши железную лохань, воду нагрела. Велела залезать.

Мыться, — так понял Андрюша. Захотал: у нас в лохани малых деток моют; я двадцать лет уже в баню хожу. Но куда деваться, бани нету — потащил рубаху через голову. Порты спустил без стеснения — пожар всё упростил: все свои. Нет, ну ей-богу, свои — без хихиканья.

Бабы глядели ласково, как с иконы, прямо в душу. По-хозяйски прямой, нагой, как статуя во дворце, ступил Андрюша в лохань. Погрузился в горячку с блаженным рыком и — запел!

— *И-из-под дуба, из-под вяза!..*

Да во весь голос! Вода зеркально подкидывала голос к облакам.

— Тинка! — громыхал на всю улицу, плеща водой и счастьем через край. — Картинка!

Эх, жаль, улица была пуста, никто не видел. Посередь двора стояла блестящая лохань вычурного вида, в ней сидел усатый великан, расставя локти, обнажа зубы, он пел басом, качая чубом в плясовом ритме и играя бровями:

— *Вот и ка-алина, да вот и ма-алина!*

А перед ним, замерев, стояли две маленькие женщины и модели на глазах.

— Я сюда шёл! — выкрикивал Андрюша победную чушь. — Я сюда пришёл!

Праздник.

Два года стрелковой школы в Ижевске. Два месяца экспедиции Уфа — Далянь — Марсель. Ещё два месяца подготовки в лагере Мэйи. Неделя на фронте и две недели в госпитале... Отвык солдат от семьи.

Сидел за столом барином, бабы ему подавали. Хорошо. Яства.

Смешно, конечно:

и не стол, а плетёнка из прутиков;

и не бабы, а две тощие француженки; и не яства, а длинная черствая булка с сыром...

Но всё равно хорошо.

— Репу сеем на Иванов день, — поучает Андрюша француженок. — В диких деревнях репу сеют ночью и без штанов: на урожай — поверье такое. Но мы не дикие, мы сеем днём, в штанах. Сеем по занятому пару — ну, значит, на побеги ячменя сыпем семена репы. К осени ячмень спеет, и репа в нём — как грибы, маленькие жёлтые репки. Сладкие!

Мари и Контин ответно улыбаются, облизываются.

— Мы, ребяшня, ворует репу с поля. А взрослые имают нас и крапивой грозят. Такая начальная военная подготовка: пролезть и не попасться. Из репы варим репню — суп, по-вашему.

— *Суп*, — кивают дамы.

— Ещё парим репу в печках. Набиваем репами большой горшок, сажаем его на лопате, вверх дном, в теплую печь. На ночь. Поутру пареницу едим: дети, взрослые, наголо и с хлебом, с солью и без соли — всяко. Остатки режем, на противень, и в печь ещё на ночь. Получается — вяленица. Ещё лучше делать вяленицу из моркови, о! Её завариваем вместо чая. У нас в подполье всю зиму стоит кадушка с вяленицей — бери, кто хошь!

Набиваем карманы, жуём на беседах. На неё играем в лото. У вас играют в лото? У нас в роте домино. А у вас?

Дамы оживляются: *Домино, домино!*

Бурный день. Бурная, бесстыдная ночь, может быть, лучшая в Андрюшиной жизни. Да, лучшая, без сомнений. Его только коснулась гигантская мясорубка, она потрясла его и сдула шелуху житейских суеверий, но ещё не покалечила, не выжгла душу и не запугала до животного состояния. Он был остро жив. Именно потому, что его прицел был направлен убивать, душа взлетала и обнимала всё живое. Андрюша радовался и солнышку, и дождю одинаково. Мокрые ноги, палящий зной, громыхающие в кузове гробы, дым пожара — всё веселило сердце и остило ум.

— Ничо! — смеялся Андрюша. Выздоравливал.

Он часто и громко смеялся. Его забавляли выдумки Контин, её прихоти в постели, не всегда приятные, как-то: поцелуи вза-сос. Раньше, в деревне, девки целовали его иначе, язык в рот не совали, кунку прятали. А тут — в Шампани, да перед фронтом, да с южанкой, — железные удила будто выпали: всё можно. В сердечном приятии всё добро. Молодые, здоровые, они забыли грех и резвились, как лошади на лугу, разнузданно и безрассудно. Дерзкая ложь — «Контин Егорова» стала правдой, простой и праздничной: так ведь она Егорова и есть, душой и телом! Все солдатские сказки сбывались в эту ночь, все жеребцовые похоти утолялись, но Андрюша об том и не думал — просто черпал счастье без меры, без оглядки. Наверно, он был хорош, — Тинка не сводила с него глаз, огромных, сияющих в потёмках, жадных глаз. Шарила по телу пальцами, губами, тёрлась грудью, будто запоминала про запас.

Контин не случайно расспрашивала дислокацию. Здесь, в Мэйи, ей делать больше нечего: полки покинули лагерь, в казармы селят раненых, снулых солдат без денег. Обозлённые конкуренты мстят ей за успех, вот-вот подожгут дом. Контин решила на новую дерзость — открыть торговлю на фронте, в тыловых порядках. Егоров, умытый, причёсанный, важно кивал, но возражал твёрдо: не бывает. Прогонят. Убьют.

Контин настаивала мягко, но неуклонно.

В назначенное время в полк они приехали вдвоём, на двуколке, с ящиком коньяка для подкупа начальства. Контин была одета в русскую форму без погон, на голове пилотка — полётная складная шапка синего цвета с французской кокардой: горящая «граната» и гордые буквы RF: *La République De France*.

Немцы быстро осознали возможности мелких штурмовых отрядов. К осени 1916 года на русском участке 4-ой армии генерала Жоффра «психические» атаки немцев прекратились из-за малой эффек-

тивности: обороняющиеся русские сразу после артобстрела выкатывали пулемёты из укрытий и со злым весельем расстреливали атакующих немцев в упор. Потери вдвое превышали германский стандарт, и немцы сменили тактику. Из числа лучших солдат, отобранных по признаку личной инициативы и храбрости, они сформировали штурмовые роты и распределили их вдоль всей линии противостояния.

Новые приёмы ведения боя в траншеях состояли в следующем. Штурмовики разбивались на тройки и внимательно изучали свой сектор для вылазки. Затем ночью, в темноте пробирались к русским позициям в самом уязвимом месте. Первый солдат тройки был вооружен щитком от станкового пулемета и остро заточенной сапёрной лопаткой. За ним следовал солдат с мешком ручных гранат, оснащенных взрывателем с укороченным замедлителем. Третий солдат был вооружен ножом или штыком. Действия их были непредсказуемыми для караульных и всегда слаженными. Чаще всего они с близкого расстояния забрасывали гранатами землянки со спящими русскими пехотинцами. Иногда проникали глубоко в тылы, и там нарушали артиллерийские порядки. Бывало, проходили траншеей по стрелковым позициям вдоль фронта, вырезая дозорных, отсекая телефонную связь, сея ужас и замешательство на всех эшелонах обороны. Неожиданность появления и быстрота манёвра давала им неодолимое преимущество: штурмовики уходили невредимыми почти всегда.

Русские пехотинцы изобретали разного рода сигналы, ловушки для штурмовиков, но они срабатывали с переменным успехом, не раз в них попадали сами изобретатели.

Мало-помалу чины притерпелись к страхам, обжились. Рыли в траншеях отнорки, гнездились там — выстилали мягко, обертывались тёпло. Клепали печурки, копили дрова на зиму — по крестьянской привычке готовились к зиме. Боялись — перебросят под Верден. Даже малограмотным было известно, где этот «под Верден», и чем он страшен. Там работала главная мясорубка. Скоро у ней французы кончатся, и она запросит русского



мяса. Здешнее затишье считалось благом, шампанская земля стала для братцев доброй мачехой — испуганные души лепились к её теплу, влюблялись в её ароматы. Стриженные головы, поскуливая, лезли в её лоно — убежище. А поротые задницы в неё же и гадили мстительно. И не было в том противоречия, была в том: жизнь. Вовне того была: смерть.

Окопы противника мало-помалу стали частью жизни. Недужной частью, злой, но — жизни. За теми окопами надобно приглядывать, сторожить. Братцы и сторожили. Шарили взглядом по полю боя, по кромке отсыпи вдали, по вражеским укреплениям, заграждениям. Шарили глазами днём и ночью, при свете солнца и под дождём. Заучили тот вид наизусть, отмечали тотчас, где у немцев мешки с песком появились, где подозрительная труба блеснула, что крикнули, чем стукнули. Молодые, озорные, не прочь подразнить, братцы выставляли над бруствером пугалы. С той стороны трещал выстрел, другой. Братцы ржали одобрительно попаданию, кричали обидные слова промаху. С той стороны ветер доносил ответное ржание. Доносил басурманское пение:

*Хааааай, ди хай до, хайда!*  
*Хааааай, ди хай до, хайда!*

Там тоже выставляли мишень, покачивали призывно. Братцы в ответ громко материли мишень, вермахт и кайзера. Потом один брал лебель и сбивал мишень ловким выстрелом. Сурово сплёвывал: так будет с каждым. Ветер доносил плеск насмешливого аплодисмента. Много чего носил туда и сюда ветер-парламентёр.

*Хайду!*  
*Хайдо!*  
*Хайда!*

— Вилли! Ити твою мать, закусувай!  
— Вилли, иди сюда, покурим! Ссышь?

Одно время все начали мастерить *перескопы* — два зеркальца на рейках: перескок через окопы. Удивительная игрушка, и

полезная: можно наблюдать за противником, не вытягивая шей из траншей. Можно наблюдать за своим начальством. Условным свистом предупреждали соседей о появлении новой кочки на поле боя или о приближении начальника караула в тылах.

В наших тылах были: ещё три линии траншей, проволочные заграждения, минные поля — и сквозь них: охраняемые пулемётами ходы сообщения. Там время от времени мелькала фуражка дежурного начальника караула. Там в назначенный час являлись ангелы с горячим обедом.

Позади всех траншей дымили в укрытиях кухни, фыркали в торбах лошади, кряхтели раненные в лазарете. Свободные от караула чины разгружали провиант, таскали боеприпасы, весело пилили доски на гробы. Бегали потные вестовые, лихо матерились офицеры французской службы, маленький унтер нёс в ящичке оптический прибор — это Рувимка Меликов, он уже начальник пулеметного расчета, стырил где-то дальномер.

Понемногу прошел азарт битвы, ненависть к врагу сменилась насмешкой, враг стал неприятелем, иногда — вполне симпатичным соседом. Братцы наловчились даже в дозоре выпиливать чётки, лепить шахматы. Все повально мастерят выкидные ножи и расчески для усов, зажигалки, плётки, перстни. Дарят, продают, меняются. Рисуют грудастых русалок на игральных картах и друг у друга на спинах.

На правом фланге, в безлюдной траншее, чины устроили собственную баню. У кухню наворовали дровишек, натаскали водицы, украсили насыпь пушечными гильзами в ряд. Сёма Фомин изваял из песка лежащую фигуру — голую Марусю, как живую, её приходили смотреть из 2-го полка.

У лазарета работала торговая палатка, там Контин Егорова продавала братцам конфеты и вино. Добрая, принимала в оплату копейки, франки, пфенниги и даже свистульки иногда. Андрюша по вечерам гонял от её палатки страдателей.

Ему не по нраву была эта торговля, ужимки и улыбочки. Не любя военная форма на жене.

— Не по праву! — сердился унтер, почитая мундир отличием Русской Императорской Армии. Отсутствие погон — непорядок. А ношение французской пилотки — надругательство.

— Сам носишь французский шлем, — смеялась Контин над его *каска Адрионом*.

Вольничала. Исчезала на день, на два. Где была? Говорит — выручку прятала. Андрюша сходил с ума, бранил непокорную, умолял извещать его хотя бы. Но что с ней поделаешь, с католичкой?

Служба унтера Егорова была хлопотной. Жил, как и прежде, с четвертым взводом, но постоянного отделения ему не давали — ставили командиром временных отрядов. То в наш тыл, то в ихний: то на работы, то в драку. На досуге помогал Христофорову строить катучие щиты для стрелков.

Все эти мирные забавы в один день сдуло, как сухие листья. На русский сектор Западного фронта пришёл Верден.

Мелкие группы германских штурмовиков с сапёрными лопатками разрослись до штурмовых батальонов. Хорошо вооруженные, на диво слаженные, они обзавелись батареями пехотных пушек, лёгкими миномётами, огнемётами, конными повозками для подвоза боеприпасов и передвижными лазаретами. С необыкновенной быстротой германские штурмовые батальоны снимались с места, пешим строем перемещались, развёртывались в считанные минуты и открывали огонь неожиданной силы по русским позициям. Оглушив противника, они исчезали и обнаруживали себя где-то в стороне.

Невиданные машины с грозным рёвом и дымом подтаскивали к фронту зачехлённые орудия пугающих размеров, — по ним, через головы русских, суетливо била французская артиллерия, но тщетно — уцелевшее орудие германцы прятали в капониры, там расчехляли, подвозили на тележках снаряды: и — *Айн Хеле унд айн Бацен!* — делали бацен по русским позициям. Воронка получалась знатная — со слугой не перепрыгнуть.

Вдоль и поперёк фронта летали аэропланы, издали не всегда понятные. Из них

иногда вываливались гранаты — частью взрывались сразу, частью на следующий день, дождавшись любопытных сапёров.

Пехота зарывалась в землю всё глубже и глубже, хоронилась от смертельных приготовлений, как с той стороны, так и с этой. Братцы со злостью чистили ружья, с тоской нянчили боезапас. Точили ножи, куда деваться. Лили свинец в песочные формы — выдумывали кастеты пострашней. Молились Матушке Заступнице. И снова копали, копали неродную.

Приказ о наступлении русские пехотинцы приняли с громадным облегчением и подъёмом: опередить немцев! Бросили свои норы и печурки без сожалений, покинули опостылевшие окопы и поднялись на бруствер навстречу ветру, давя животный страх лютым криком.

Какой тебе Андрюша-солнышко! Бравый унтер вырос на фоне неба, увлекая за собой чинов — куда? — туда! К рубежу, к отсыпи германских траншей, намозолившей глаза, надоевшей до черт собачьих. Зачем — неважно, сейчас надо перемахнуть через поле боя. Какие там турусы, катучие щиты! Давай Бог ноги! А лучше крылья: земля изрыта и завалена окровавленным тряпьем, костями, железом, увита колючкой. Обдирая порты в клочья, не чуя ног, бежит под свинцовым дождём Егоров и уже боится, но не за себя, а за братцев — неужто сдадут?!

— Вперёд! — орёт не своим голосом. — Вперёд!

Как добежал, не помнит. Огонь навстречу пресёкся, немцы побросали ружья, дураки, теперь им капут. Уже не Егоров, а безымянный медведь, ослепший от ярости, прыгнул в окоп, погнался штыком чужую шинель. Наколот. Матерясь, перелез шевелящееся, скребущее руками ништо, добил его штыком сверху. Погнался следующего. Кто-то прыгнул сверху: свой. Кто-то развернулся: чужой, — а у Андрюхи штык застрял в крепи, и ему чужой прикладом хрясь. Звёзды из глаз унтера, изо рта кровь и зубное крошево. Андрюха вслепую лезет голыми руками имать врага, рвать ремень, холодную сталь из его рук, суровое сукно и мягкую его

морду — рвать, бить кулачищем, бить, бить. Дело, знакомое с детства, вернуло рассудок, открылись глаза — стал бить прицельно, с отмаха, уперев ноги в землю и наливая руку тяжестью тела... Бросил его тушку, перешагнул и — дальше, дальше.

Чёрный, страшный, с битой мордой, дышит как паровоз, озирается безумно. Хватает ружьё, не может никак перезарядить, роняет патроны.

— Де звод? Де звод?!..

— Туда! Туда! — вопит растерзанный, без фуражки Кузьмин, щерит зубы.

— За мной! — дёрг за рукав своего. — Айда!

— Урааа! — дико хохочет свой, это — Коляша.

Все бегут — туда.

— СУКИНЫ ДЕТИ! — надувает жилы на лбу взводный Белореченков, родной. — ЛОЖИСЬ!

Ребята заученно падают носом в песок. Хлопок по уху — взрыв гранаты — и долгий звон в голове. Несильный, слава Уставу. Ребята вскакивают, не все, преследуют бегущих германцев с азартом засидевшихся, перебожавшихся, вольных людей.

— Урааа!

— НАЗАД! НАЗАД! — дёргает поводок взводный.

Ребята оглядываются, возвращаются.

— Занять позиции! Окопаться! — командует Белореченков, маша руками.

Первая волна русской пехоты закрепляется в траншеях противника — братцы перекидывают мешки с песком с одного края окопа на другой, мостят трупами приступок, ложатся с ружьями, ловят цель на мушку, бьют по амбразурам вдали. Через их головы перекатывается вторая волна русской пехоты — свежие роты преследуют отступающих, ручьями льются по ходам сообщения между квадратами проволочных заграждений и минных полей. Их встречают германские пулемёты второй линии обороны. Роты залегают, окапываются. Через их головы перекатывается третья волна наступающих. Её отбивает плотный огонь германских укреплений; немцы немедленно бросаются

в контратаку; их укладывает огонь первой роты Белореченкова. И так без конца, кто кого пересилит, — до темноты.

В потёмках огонь делается ярче, но выстрелы звучат всё реже, реже...

Роты, каждая на своём участке, выставляют караулы. Чины, приняв пищу, обмыв и перевязав раны, засыпают до утра.

В чужом окопе чужие сны. Братцы жмутся друг к дружке плотнее обычного: тёплые, живые — свои.

А утром всё сызнова.

Битьё трезвит голову. Сердце каменеет, день за днём, мысли всё короче. Зима потушила дождями последний кураж. Немецкую дренажную систему нарушило обстрелом, и траншею, в которой поселились русские, заливала вода, копилась на дне. Сапоги застревали в лужах. Солдаты повадились ночевать в бетонных бункерных сушилках, натащили грязи. Из отхожих траншей вытекала зловонная жижа, чины маялись животами, не добежали до очка — оправлялись, где придётся: всё одно уж. Блиндажи немцы построили добротные, постарались, и наша передовая пехота пряталась в них успешно, но тылы оставались уязвимы для германской артиллерии, доставка продовольствия и воды то и дело обрывалась. Люди пили из луж. Сперва через бинт, потом так. С поля боя собирали только тела и головы павших, а их конечности и ливер оставались гнить. Небо заволочло. Без солнца, под серой хмарью на кочках быстро размножались черви, в ямах сбраживался трупный яд. Смерд стоял над сказочной Шампанью.

Харитонов подстрелили в атаке — от удара свинцом его крутануло, как волчок, и он, как бывает у волчка, завалился набок, подскочил, ещё повернулся, повозился и затих. Пасечнику осколком порвало лицо и выбило зубы — остался жив, без лица поехал домой, к семье, везун. Сашку Алексеенко... Его застрелил взводный; об этом потом. Зитёва сбил германский снайпер ещё летом: пуля попала в орла на каске и застряла в голове, думали — убит, а он встал из гроба, пошёл в перевязочную и

там помер. Тогда ещё хоронили в гробах... Золотарю Мишке выдали белую повязку на рукав и пустили собирать трупы. Шарить по карманам.

Угрюмые немецкие санитары со спущенными на грудь намордниками собирали своих, дыша разинутыми ртами. Они подходили к самым бойницам взвода Белореченкова — штыком дотянуться можно. Но стрелять по ним и в голову не приходило. Братцы супились, молча: то же самое делали наши санитары на той стороне поля боя. Чтобы выгнать из себя вонь, Андрюша пустился курить табак.

Вши от макушки до пяток. Чирьи на шее и в паху. Голод.

Рождества чины не заметили. Хворое воинство спасало уже самое себя. Вялые атаки отбивали без крику, без сердца. Немцы, похоже, тоже устали.

Свои злили больше, чем чужие. Надоели окопы, и всё, что внутри: приступок, гнездо с бойницей, голоса чинов и их чумазые рыла — всё надоело до чёртячьего воя, всё.

Вот сидят на приступке два унтера, Кузьмин и Егоров, курят молча. Леший несёт Меликова. У него вечерний моцион — гуляет по траншеям, герой, хлопает чинов по плечам, хмельной — издалека слышать.

Кузьмин хмурится:

— О, Алягер идёт.

Меликов пробирается, подходит, на груди у него уже две медальки.

— *Алягер ком алягер!* — шутит обыкновенно. — Чо носы повесили, командиры?

— По тебе скучаем, — дымит ноздрями Андрюша.

— Не скучай, дядя, — фанфаронит Рувимка. — Война удальца молодит, старца старит!

— Война, — ворчит Кузьмин. — Разве это война? Дерьмо, а не война.

— Ты мне будешь про войну объяснять, — задирает нос Меликов.

— А, без толку. Пулемётчик, он смерти не видит. Пуляет себе... как в тире.

— Это я-то — как в тире?! — заводится Рувимка. — Да я впереди тебя! Да с двухпудовым пулемётом! Сиди, самсоновец.

Облил презреньем Кузьмина и пошёл дальше Рувимка, ещё бодрей, чем прежде. Опять замолчали два унтера.

Кузьмин встал, зашёл за угол, отлил в дырку, вернулся, сел. Опять закурил. Заговорил глухо:

— Александр Васильевич Самсонов — кавалер орденов Святого Георгия, Святой Анны и Святого Станислава...

— Чо?

— Самсонов, говорю, мой первый командир. Сам Государь Император ему золотое оружие... Вот говорят — Самсонов виноват, потому и застрелился. А я думаю: потому и застрелился, что не виноват. Дело было криво начато, его прислали с чужим планом. Ему приказали! Он армию принял и пошёл на Пруссию по чужому плану. Понимаешь? Говорят — задачу не выполнил. А я говорю, бывают такие задачи: умереть. Он и умер. Вместе с армией, да. Но такая была задача! Что молчишь?

— Дождя бы не было, — промолвил Андрюша.

На исхудалом, небритом лице Кузьмина глаза казались огромными, зелёными, как крыжовник — такими же колючими и ждущими чего-то. Чего он хочет?.. Андрюша понурился. Выдавил:

— Ты говори, говори.

Безразличье. Когда она обмелела, душа? В какой день? Много чего было — всё перемешалось. И некого спросить, и незачем. Андрюша перестал вздрагивать, ронять патроны в запале драки. Вкладывал патроны, не спеша, дожимал до щелчка каждый — один, два, три, четыре, пять. Ложился щекой на приклад, брал цель на мушку, сшибал её, другую, третью... Кого-то перевязывал. Кому-то приказывал: «Заменяй меня» или «Туда. Бегом». Когда надо, приказывал громко, когда не надо — нет. Когда надо, бежал по кровавой пашне — убивать. Когда не надо, шёл отлить. Пошамать. Поспать. Убить вошь, убить немца. Покурить. Руки сами знали, что делать, ноги знали, куда идти. Андрюша не участвовал.

Сколько вдохов может сделать тело, покинутое душой? Андрюша дышал ровно.

Он не устал, нет. Просто перестал размышлять и делал дело. Спокойно, размеренно — как надо.

Сашка Алексеенко, батальонный заповала, — его застрелил взводный командир. Было так: сидели в затишье, курили. Сашка был спокоен. Докурив, бросил хабарик, отряхнул пепел с груди и полез из траншеи вон. Его лебель остался в пирамиде. Рыжие сапоги взошли по ступеням. Братцы хмуро смотрели вслед. Стало совсем тихо. Саша, оскальзываясь, взмахивал руками, шёл и шёл в сторону врага, не оборачиваясь и не спеша. Поручик Белореченков устало вытянул из кобуры револьвер, произнёс себе под нос скучным голосом: «Лексеенко, назад, стрелять буду», лёг грудью на утрамбованный грудями чинов бруствер и протянул ствол в бойницу. Пехота безучастно докуривала табак. Треснул выстрел, заповалы не стало. Будто и не было.

Вот в марте прошёл слух: в России Николашку-царя скинули. Ну, и что? Врут, не врут, — всё одно. Да был ли, он царь? Была ли Россия? Тут всё без перемен. Дым и слякоть. Франция.

## Тот мрак

Долго ли, коротко ли, пригрело солнце, дунули тёплые ветры. Стало посуше. В воинское расположение зачастили чужие люди без погон — французские, русские агитаторы разных мастей — кто с ведома начальства, кто без ведома. С отдыхающей смены их никто не прогонял, а на передовую они сами не дураки соваться. Там и сям, то один, то другой неуклюже забирались повыше и кричали поверх солдатских голов какие-то слова.

Оглохшие от пальбы братцы угрюмо дымили сигарками, отворачивались.

На что это похоже? Ну, вот это — всё вокруг — на что похоже? Ни на что. А как поместить это в ум, когда сравнить не с чем? Людей учили воевать. Людей учили побеждать, а выходить из войны их не учили. Выходить — куда? Мира нет, потому что нет мира.

Личный состав таял, и не только от невозвратных потерь — люди исчезали безвестно, тела их не находили, да никто и не искал. Кто его знает? Может, землёй завалило, может, ушёл.

Да куда тут уйдёшь?..

Взвод Белореченкова отвели с передовой позиции на полкилометра в тыл, на отдых.

Вечером Андрюша взял двоих, пошёл за бельём для бани, и на истоптанной дорожке столкнулся с... Контин.

Ну, зачем это? — пронеслось в голове. Сам Андрюша уже привык ничего не думать. За него думали: ноги, руки, устав воинский. Для них Контин была лишним препятствием, поленом на дороге. И без того путь труден, опасен, а тут ещё это.

— Здражелаю, — механически произнёс унтер, не меняя хода, без поворота голы.

Он стал хорошим солдатом. Сколько он уже прослужил? Два года в стрелковой школе, год в экспедиции — три года всего. А будто тысячу лет. Меткий, смекалистый, выносливый — полезный солдат. Не рассуждающий. Не чувствующий. Лопатой подбирающий мозги друга, без слёз. Коротко стриженный, без чуба и прочих затей. Чур деревянный, жёлты пугвицы заместо глаз, в синем облаке табачного дыма, — вот сидит он на корточках в тенёчке, отдыхает, готовый ко всему — солнцу, ливню, камнепаду. Готовый вести ребят в баню, на смерть, на обед. Зачем ему женщина?

Она протянула сухарь. Он взял: вещь полезная — сунул в карман.

Она протянула суконку, там — иголки, нитки. Он взял — отчего не взять?

Следом пошли в его руки: пачка лезвий, бритвенный станок. Бинты. Егоров усмехнулся криво женщине: у тебя что ни карта — всё в масть. Упаду вот тут — сена подстелить успеешь?

Молчит.

А когда появился настоящий, ярко-жёлтый лимон, Андрюша очнулся и заплакал. Контин, не говоря ни слова, легко снялась с места и ушла.

Он рыдал, тычась лицом в спицы тележного колеса и скребя когтями сухую землю. Два чина сидели рядом на тюках с бельём, худые, чёрные, — курили, пережидали.

Всморкался, утёрся, командовал:

— Так. Становись.

Братцы загасили сигарки, уложили их в фуражки, подняли тюки — пошли за командиром.

Сегодня ему исполнился двадцать один год.

Дальше. Вот идут они — командир впереди, за ним двое чинов с бельём: по-слезавтра баня. Унтер оглядывается на чинов, а позади них, в пяти шагах, — Контин! В обтёрханном хаки, в грязных сапогах, идёт следом. Они направо, и она направо. Они в каптёрку, и она — хвостом. Сдали бельё каптёру, вышли, а она у входа дожидается, как собака. Они к землянке, и она к землянке. Чины нырнули в лаз, Андрюша остался подле, смотрит на Контин. Похудела. Подурнела. Головёшка. Качнул головой: входи.

Там огонёк на столе. Налево, направо — нары. На них старое сено, шинелями застелено, — вонько, конечно, но тепло, на печке кружка с чаем. Унтер махнул рукой — ребята поднялись, к столу сели. Их пятеро осталось из одиннадцати — Сёма Фомин, Коляша Попов, Миколка Шабалда, ещё двое. Андрюша с ними сел. Контин в дверях стоит.

Братцы притихли, не глядят. Кружку сняли, пустили по солнышку: на то она и кружка, чтобы по кружку ходить. Швыркают чаёк чередой, молчат. Даже Шабалда молчит.

Контин стоит.

Андрюша тогда из сапога вынимает нож, штурмовой, кровавый. Лимон режет на семь частей. Каждый берёт долю, сосёт лимон и плачет от боли: цинга.

Андрюша зовёт Контин к седьмой доле. Кружку с чёрным чаем протягивает.

— Теперь тебя делить будем, — говорит.

У Контин тотчас слёзы градом. Не похоже, что от цинги. Трясётся вся, да не уходит. Так и сидят, все семеро плачут. Вот и думай.

Отбой. Пятеро ребят на одну нару легли, вторую нару Андрюше с Контин уступили.

Первый раз Андрюша справил мужскую нужду. Отдышался. И братцы на той половине тоже — отдышались.

— Ну? — громко спрашивает Егоров в темноте. — Зачем пришла? Что надо?

В ответ молчание.

Второй раз Андрюша справил — теперь мужской праздник. Отдышался.

— Зачем пришла? — опять спрашивает.

Молчит.

Третий раз справил — теперь Божью волю. Осветилась нора, стала домом, на все оставшиеся часы до смерти память.

— Ну? Говори теперь, — просит мягко женщину.

— Дочку надо навестить, — отвечает.

— В Донтриене?

— Да.

— Будто по воду сходить, — бурчит унтер, смекая по привычке, как решить задачу.

— Там ландвер, не страшно. Тут страшно. Выведи меня. Анжу больна. Сестра больна. — Контин говорила низким бесцветным голосом, но в солдатской норе женский голос звучал, как в церкви, высоко. — Я не вернусь. Вас всех убьют. Больше не увидимся. *Адъё*.

— Спи, — приказал унтер. — Всем спать.

Утром велел бабе ждать в землянке, пошёл на Лошадиный люнет, спросить: кто нынче в ночь заступает? Ему ответили: Меликов.

Потом всё по службе исполнял — большая приборка, хозяйство, — день прошёл в хлопотах. Вечером, перед отбоем, собрал отделение за столом, Континку с собой рядом посадил. Речь держит:

— Значит, так. Завтра меня нет. За старшего Попов.

— Завтра баня, — вырвалось у Миколки.

— Потом вместе побухтим, сейчас слушай и запоминай. Завтра всё по распорядку. За старшего — Попов. Меня — нет. Кто спросит, — я *где-то тут*. К обеду вернусь. Может, раньше. Может, позже. Ежели что...

Поглядел в глаза каждому братцу.

— Ежели пытать будут — я на задании, секретном. Союзнический долг. Так и отвечайте: больше он ничего не говорил.



Каждый кивнул, по кругу.

Егоров протянул руку, стиснул Миколки-но запястье. Повторил:

— Я — где-то тут.

— Да и так, — подтвердил Шабалда, честно, горячо: — Ты тут. Вот токо что был!

Как стемнело, вышли — Егоров, с лебелем за спиной и холщовой сумкой на боку; Контин, с котомкой за плечами. В замурзанном хаки, утлая, проворная, она шла рядом, бок о бок, и попадала в ногу без труда. Напарник, — усмехнулся Андрюша. В груди ворохнулась надежда: а вдруг — проскочим?

Затея — дохлая. Это понятно всем — и ему, и ей, и даже Миколке Шабалде. Идти через линию фронта, даже на издохе войны, — самоубийство. Ну, и что? Хорошая смерть. Сколько было в роте самострелов? Только по рапортам — четыре. А по жизни — скучно думать, сколько. Кто со страху, кто с тоски стреляется. Кто со злости: уставу наперекосяк, Богу вопреки. Это неправильно. А что правильно? Сидеть в дерьме и ждать, когда тебе жопу оторвёт, сейчас ли, через час?! Каждый день прилетает сверху дура-смерть, и гибнут люди, просто так, без боя. Зачем?

Ладно, смерть. А калеки? Расползаются ото всех фронтов тысячами, в крови и соплях. Как им дальше жить? Как с ними жить? Не будет жизни больше нигде и никогда. Никому не будет. Это ясно всем: и ему, и ей, и Миколке Шабалде. Надо уходить. Но как? Куда?

И вдруг милость Божия — правильная смерть: заступиться за мать. У неё там ребенок. Её убьют, конечно, она ничем не поможет своему ребёнку. Ну, и пусть. И меня убьют, и слава Богу.

Они шли от землянок к передовой позиции по истоптанной, изрытой, загаженной и выжженной земле, пустой, безвидной, но над этой клоакой ходили волнами ароматы дальних трав, и это было странно, отвлекало и мешало делу. Что-то оставалось позади... Да, землянка, вчера она в одночасье стала домом для них двоих. И ещё для пятерых братьев — соглядатаев их комковатого счастья. Пусть, не жалко.

Контин шла рядом, в ногу, повинуюсь жесту, повороту головы, дыханью Андрюши. Во всём полку не было второго такого верного напарника. Андрюша взбодрился, предстоящий рейд представился ему отчётливой картинкой, шаг стал лёгок, голова пуста.

Впереди была «змейка» — неприметная тропка через заграждения и минные поля, в обход падали — мёртвых лошадей, убрать которых не представлялось возможным. О тропке знали обе стороны; с обеих сторон её блокировали пулемётные гнёзда. Наше гнездо называли — Лошадиный люнет, дежурство на нём было пыткой для пулемётчиков — если ветер дул со стороны падали, дышать было нечем. Нынче ветер дует на окопы противника, — *дас ист гут. Зер гут.*

— Стой! — тревожный окрик часового, щелчок предохранителя.

— Егоров тут, — поспешил отозваться унтер и сразу заговорил, презрительным к уставу голосом: — Меликова позови!

— Иди, иди давай отсюда! — заволновался часовой, блеснул стволом. — Застрелю на хер!

— Рувим! — властно позвал Егоров. — Выди!

В глубине блиндажа послышался мат. Из двери бесстрашно выставилась Рувимкина башка.

— Хули надо?

— Стреляю! — орал часовой на нарушителя. — Имею полное право!

— Егоров тут, — медленным басом сминал его крики Андрюша. — Рувим, мне тебя надо.

— погоди, Матюха, — одёрнул часового Меликов и засмеялся, будто ему козырная карта пришла: — *Цу дайна минутен.*

Обулся, вышел, распоясан, весел: нынче на Лошадином люнете дышится хорошо.

— Ты чо тут? — панибратски заговорил Рувимка, блестя медальками при луне. — С бабой?

— Это Контин, — отвечал Егоров твёрдым голосом. — Мы идём на ту сторону. Нам надо.

Рувимка расхохотался.

— Да я тебя тут застрелю! Сейчас! — веселился Меликов. — Зачем куда-то ходить?!

— А не хочешь посмотреть, как мы пойдём? — хохотнул в тон Андрюша, вытаскивая из сумки две бекешы.

Это заинтересовало игрока. Он оглядел укладку Егорова, с уважением фыркнул. Пошёл к Контин:

— Бон суар, мадам. Ваше последнее желание?

Контин собранно молчала.

Её настроение не понравилось балагуру. Он сплюнул:

— Туда вам и дорога. Матюха! Проводи их на «змеюку». Пусть идут. Станут пятиться — стреляй.

Сам пошёл за биноклем — полюбоваться.

Оба лазутчика надели бекешы, обмотали головы, пряча лица, завязали друг другу концы на спине.

Унтер Егоров здесь ходил с отрядом.

— До второй туши идём пёхом, — глухо инструктировал он, проверяя заправку напарника, прощупывая сидор. — Дальше ползком. Медленно. Тихо. Там всё железом засыпано, звякнешь — убьют, прощай, Анжу. Стрельба начнётся — лежи, как мёртвая, два часа, уши зажми: гранатами будут закидывать.

— А ты?

— Слушай! Запоминай: следи за тучкой. Тучка луну закроет — ползи, обходи пулемёт справа. Молиться умеешь?

Глаза Контин неотрывно следили за ним из-под бекешы.

— Ведьма.

В ответ Контин высвободила губы, быстро поцеловала Андрюшу в его колючую, горькую переносицу.

Часовой поднял винтовку. Зашипел строго:

— Давай, давай, не велено тут!

— Бывай здоров, Матюха.

Егоров пригнувшись, с «лебелем» наперевес, пошёл через поле изгагами, поглядывая то вперёд, то под ноги. Контин ступала за ним след в след, легко, бесшумно.

До первой лошади они дошли легко. Дальше их окутала вонь гниющей конины.

И ещё луна выглянула из-за туч, пришлось замереть и ждать, дыша через бекешу. Медленно, невыносимо медленно маленькая тучка шла к вылупленной дуре. Прикрыла. Пошли. Вторая лошадь, совсем разваленная, гнила в сорока метрах от германского редута — на расстоянии хорошего броска гранаты. Бетонная стена редута под наклоном отражала свет луны. Амбразура была заложена деревянной ставней со смотровой щелью. В ней мерещились напряжённые глаза часовых, неусыпно следящих за лазутчиками. Вряд ли будут палить по паре лазутчиков через щель, подумал Андрюша. Часовой бахнет сбоку, на открытом воздухе. Подымет караул, лазутчиков будут расстреливать с двух сторон из карабинов, закидывать гранатами... Дышать делалось всё трудней. Андрюша с тревогой обернулся к напарнику: не кружит голову? Нет. Дождавшись тени, они двинулись ползком. Быстро убедились, что пластом не пройти, пошли на четвереньках, аккуратно убирая с пути мелкие препятствия, разгоняя крыс, перелезая через корьё, проваливаясь руками в грязные лужи, напарываясь на колючки, отцепляя их от одежды... Дохлое дело. Не пройти. Рассвет застанет их перед самыми сапогами немцев. Их будут бить резиновыми палками, класть лицом в костёр с патронами — как писали в той книжке про немецкий плен.

Андрюша лёг на бок и поискал глазами напарника — Контин. С удивлением отметил её правильную позицию рук и ног, целостность обмотки головы. Справный солдат. Может, и проскочим.

На немецкой стороне было почище, двигаться стало легче. Ползком они обошли редут, заодно обтирая одежду от грязи. Бесшумно поднялись на бруствер, один за другим перепрыгнули пустую траншею. Пригибаясь, перебежками, срывая со ртов бекешы, помчались ко второй линии, ища глазами завал — переползли его и дальше, дальше... Не веря своему счастью, они нырнули в лес. Застыли, сторожко слушая, оглядываясь по сторонам.

Контин сдавленно захихикала, зашептала, радостно блестя глазами.

Андрюша перевёл дух.

— Дальше знаешь как? — спросил.

Контин закивала, зашептала, водя рукой в темноте, тутошняя.

— Ну, прощай, — сказал Андрюша, чмокнул её в щёку и развернулся в обратный путь.

— А ты? — услышал сзади.

Андрюша остановился.

— Скоро рассвет, — сказал. — Надо спешить.

— Ты обратно?! — Контин оторопела. — Ну, ну, ну, ну!

Она схватила его за руку.

Такую хватку солдат понимал лучше слов. Когда так хватают, надо мгновенно выполнять — «Ложись!» или «Беги!» — смотря, в какую сторону тебя дёрнул напарник. Рассуждать, огрызаться — это потом. Он беспрекословно двинулся в указанном Контин направлении, зорко глядя по сторонам. Отойдя на безопасное расстояние, Контин заговорила: скоро рассвет, надо спешить, но не туда, а вон туда, в поселок, день переждём, а потом я тебя выведу к своим. На все вопросы она твердила одно: я тебя выведу к своим.

Унтеру мешала неясность. Но за три года службы — или сколько их там прошло? — он привык к неясности. Насобачился чують обстановку по звукам дальним и ближним, по поступи напарника. Пути вперёд он не видел, но его видела вторая его половина — Контин. Обратный путь он видел хорошо, но ничего хорошего на том пути не было. Унтер пошёл вперёд.

Контин шагала быстро, уверенно. Возбуждённо дыша, она говорила, говорила, говорила. Кажется, она рассказывала Андрюше свою жизнь. Он её не слушал. Зачем это?

— Фузиль тут, — Контин распорядилась спрятать винтовку, с каждым шагом она становилась всё увереннее. — Фуражка в сумку.

Унтер долгим неподвижным взглядом в упор выразил своё неудовольствие разоружением, но покорился. Она не повторяла приказанье, не торопила. Егоров бережно уложил лебел в кустах, замаскировал. Спрятал фуражку в сумку с гранатами, при-

крыл погону бекешей — уже не для маскировки, конечно, а так — для близиру. Утренний ветер приятно охлаждал пустую голову.

Серый мутный рассвет. Поломанный забор, за ним — задний двор какого-то дома. Дверь чёрного хода. Тихий стук, шёпот. Запахи гражданского жилья. Лесенка винтом, как на корабле. Тюфяк на полу. Забытьё.

Андрюша проснулся от острой тоски, будто штыка в груди. В мансарде бесилось весеннее солнце, смешные детские игрушки обступили спящего на полу солдата. Снизу был слышен капризный плач больного ребенка, а где-то там, за лесом, за смертной полосой, братцы собирались в баню. Они — за рубежом. Они там, а я тут.

Здесь всё другое. Ничего похожего. Косой потолок оштукатурен. Пол, крашен толсто, много раз, коричневой краской, разлинован щелями; в щелях пыль. Гражданская пыль. Комод — блестящи ручечки. На нём гора мирных предметов излучает невнятную тоску. Бумаги, много бумаг. Лампа, как из дворца. Стекло на комод. Стекло в окне, целое: видать, артиллерию не интересовал прифронтовой посёлок. Андрюша осторожно приблизился к окну: никого. Хороший обзор для пулемётчика. Привычно отметил места возможного залегания пехоты, маршруты перебежек.

Андрюша здесь посторонний. Ему дали еды, как зверю. Не было застолья, не было расспросов. Мимо русского ходила тенью сестра Контин, усталая женщина по имени Филиппа, простоволосая, в странном халате. Да и сама Контин, теперь в платье и женских туфельках, казалась Андрюше незнакомой. Куда-то бегала, принесла лекарство, силком поила Анжу. Суежилась по дому.

Он был не нужен тут. Но попасть туда, где он был необходим до зарезу, он мог только следующей ночью. Приходилось терпеть.

Гальян в бедном доме был господский, с белым стульчаком и бачком под потолком, даже лучше, чем в унтерской школе.

При мысли о Шалёне унтер вдруг ощутил дикий позыв: подержать Контин за грудь. Вспомнилось то свидание, вскрылась боль,

плеснула горячим ядом невнятная обиды... Не важно. Пора было её лапать, мять, разорвать. Время было не самым удобным для этого, но звериной волей он решил, что это — правильное желание. Тинка держала перед собой поднос с какой-то фарфоровой посудой, когда Егоров вошёл в кухню и заслонил собой выход. Она изменилась в лице, не сводя глаз с Андриуши, опустила поднос на стол и... кинулась ему на шею, ранив губы поцелуями.

В детской комнате смежил веки усталый ангелок. На высокой кровати уснула усталая сестра Контин — как же её звали? — Филиппа. Наверху блаженства бушевали вырвавшиеся на волю стихии. «Так нельзя», — паутинкой метался обрывок нотации.

Контин накинула халат, сходилла, провела дочку. Спит? Спит.

Андриуша, в минутном самодовольстве, потребовал ответа:

— Утром... К немцам ходила?

Француженка кивнула без тени смущения:

— Пауль, мэрия. Там теперь *тифоиди изолён*. Он лечил Анжу. Он дал лекарство. Анжу спит.

— Ты с этим... Паулем...

Андриуша, каменея, искал слово-плеть. Нашёл:

— Интим?

Отвечала легко, будто про семечки:

— Ну. Он добрый.

Андриуша побелел. Он понял превратно ответ «ну».

Контин почуяла неловкость, сообразила, зачатила:

— Ну, ну, ну. *Па д интимите*. Нет. Толстый герман. — Она смешно надула щёки.

Андриуша выдохнул, но тяжесть не выходила из нутра. Такая близкая, понятная, Контин была невыносимо далека и совсем не понятна. И эта страна, Франция, — как она живёт под немцами?! Как её земля не загорится?!

Контин помешкала. Потом села напротив, заглянула Андриуше в глаза, взяла за руку.

— Слушай. Запоминай. Здесь другие немцы — резерв. Ландвер. Резерв. Понимаешь? Кивни головой. Они строят стены, копают траншеи. Они не стреляют. Один тебя выведет к своим. Йозеф. Он не любит войну. Понимаешь? Ты его не бей. Он тебе поможет.

Контин села рядом. Накрыла Андриушин кулак своей ладонью. Спросила участливо:

— Ты любишь войну?

Андриуша не мог говорить, не хотел. Окаменело всё.

— Я не люблю войну, — говорила Контин. — Я на войне зарабатываю много денег. Это плохо. Я не люблю это. Я несу конфеты, сигареты русским — они говорят: хорошо. Я несу конфеты, сигареты немцам — они говорят: хорошо. Что плохо? Рюша! Что плохо?

Андриуша с трудом, руками ворочал свою голову влево и вправо.

— Ты любишь меня? — уставился он на Контин. — Ты любишь меня?

— Я люблю тебя.

— Где моё кольцо? Я дал тебе кольцо. На палец. Где кольцо?

— Пуавр. Там.

— Во-от. Твоё — там. А моё кольцо — вот оно.

Андриуша поднял растопыренные пальцы с медяшкой.

— Буквы — видишь? «Кон-тин» — твоё имя.

Тинка засмеялась. Вскочила, полезла в коробку, вытянула *мулине* — красную, синюю и белую нитки. Скрутила их в жгут, разрешила ножницами надвое. Одну половинку привязала на палец Андриуше.

Другую он привязал на пальчик ей. Поцеловал.

Тинка засмеялась и поцеловала его палец с обручальной ниткой. Запела песенку, трясла за руку. Вскочила, подняла за собой Рюшу и завертела его весёлым танцем.

Пасть низко-низко. На толсто крашенный пол, на тонкий старенький тюфячок. Лежать рядышком тихо-тихо и дышать в лад. Трогать своей клешней её волосы. По-детски чистые щёки. Тонкий, нерусский нос. Подвижные, горячие, пугающе живые губы. Празднич-

ные белые булки груди, под тонким китайским шёлком, — мять и тискать. Жаркий, цейлонский живот, в овраге — беззащитный храм услады. Ноги сливочные. Рюша никогда не видел таких. Где увидишь? Наши деревенские разглядеть не дадут. Эта — лежит, раскинувшись: гляди досыта... Коленки исцарапаны. Колючей проволокой? Сапогами стёрты пятки.

— Ромашка есть? — тихий шёпот.

— Что такое «ромашка»?

Тихий поцелуй.

— Цветок такой. Целебный. В каждом доме есть. Сушёная ромашка.

— Ромашка...

— Ромашка, рюмашка... — Тихая улыбка.

Медвежья ласка, с горячим шёпотом в шею:

— Заварить ромашку. Как чай. Смочить тряпицу.

— Зачем?..

Глаза её закатываются. Ресницы скачут. Под ними — белки глаз. Губы расслаблены, будто спят. А грудь гоняет воздух. Как поршень, или что...

— Что?..

— Ножки лечить, пяточки, бо-бо...

— Бо-бо?..

— Ромашкой...

— Ромашка...

— Ромашка...

— Убей меня, Рюша...

— Что?

— Убей!

В дверях, светясь кудрями и прозрачными одеждами, стоял ангел — Анжу с игрушечной дудкой в кулачке.

На закате унтер Егоров собрался в обратный путь, к своим. Контин взялась познакомиться его с проводником немцем. Егорову этот план не нравился, ему казалось возможным в одиночку просочиться через все передовые линии по испытанному пути. Но Контин даже слышать об этом не хотела. Снова несчастная, она путалась в униформе, Андрюша попытался обнять её, чтобы успокоить, укутать, и был удивлён, когда она выскользнула из его рук. И изрядно обижен, когда она

даже не обратила внимания на его порыв — быстро вышла, озабоченная детским плачем и, спустя время, вернулась в слезах. Кинула Егорову: *але*, пошла к дверям, что-то быстро говоря сестре по-французски и целуясь на ходу. В прихожей Контин остановилась перед зеркалом и... застыла надолго. Унтер, ведомый, тоже остановился. В ожидании глядел в затылок, готовый к выходу, потом с вопросом перевел взгляд на её отражение в зеркале, и ему стало не по себе.

Отражённое лицо Контин смотрело на него другими глазами — чужими и удивлёнными. Как будто напротив Контин стояла незнакомка, и они обе шептались об Андрюше. Ему показалось, что незнакомка осталась недовольна его внешним видом, грязной одеждой, небритым лицом. Немедленно поправить это было невозможно, — унтер привычно увёл глаза за горизонт... И наваждение спало. Простучав сапогами к дверям, они вдвоём вышли на задний двор. Зеркало с незнакомкой осталось в прошлом.

Напарники со двора вышли в лес. Унтер шагнул было в сторону тайника с оружием, но напарница решительно повлекла его прочь. Егоров послушался, решив, что та видит опасность, пригнулся и с оглядкой двинулся следом. Они скрытно подошли к заднему двору неизвестного дома. «Йозеф», — шепнула Контин и велела ждать. Сама направилась к дому.

Егоров прикрыл бекешей погоны и приготовился встретить немца мирно. Для верности присел за куст, внимательно осмотрелся вокруг и проверил: нож за голенищем, гранаты в сумке. Очень захотелось надеть фуражку: в ней спокойней. Но напарница не велела — затаился пустоголовым.

Скоро со стороны дома появилась Контин. Одна? Унтер быстрым звериным взглядом оглянулся, тронул голенище. Больше никого. Контин остановилась на месте, растерянно оглянулась и тихо позвала его по имени. Потом снова.

Чутьё подсказало: можно. Егоров покинул укрытие.

Контин безбоязненно зашуршала ему навстречу, заговорила спокойно, вполголоса:

— Йозеф дома. Пойдём в дом. Пойдём в дом.

Егоров покачал головой.

— Пусть выйдет.

Контин настаивала:

— Пойдём в дом. Так надо.

— Пусть выйдет.

— Слушай. Запоминай. — Контин переняла Егоровскую манеру. — Там друзья. Они против войны. Они помогут. Говори с ними. Они помогут.

Андрюше представилась засада, дула из всех углов.

— Сколько их?

— Ондрэ! Не надо! — затрясла головой Контин.

Она пустилась убеждать Андрюшу. Всё безуспешно. Егоров глядел в сторону, соображая, как ему добраться к своим самостоятельно.

— Ты умный. Правда. Верь. Нет войне!

У Контин кончились слова, и Андрюше стало смешно: нет войне? — посмотрим.

В комнате было накурено, горела лампа, ослепительно белела газета на столе. Вокруг неё сидели пятеро разных мундиров, без оружия, один громко читал на немецком языке. При появлении Егорова все замолчали, но никто не дёрнулся. Глядели мирно.

— *Гутн аабнт*, — весело пропела Контин.

Ей ответили, зашевелились, принялись освобождать места.

Никто в драку не лез. Егоров наблюдал: все до одного были заняты поисками мест.

Нашли скамейку, усадили их обоих к столу.

— *Лёрнен зи — Ондрэ Эгорофф. Руссиш. Э либт нихт дер Криг.*

Контин бойко выговаривала корявые слова и указывала на Андрюшу лёгкой ладошкой-лодочкой. Немцы глядели приветливо, поочерёдно выпрямлялись, как в строю, и рапортовали о чём-то — о чём, Андрюша, конечно, не понял. Из пояснений Контин он с облегчением узнал, что немцев тут нет.

— *Баваруа. Шваб. Бадён. Саксон. Альзасьон.* — Контин перечисляла не то имена,

не то страны. С улыбкой указала на себя: — *Ля франсез.* — И на Андрюшу: — *Русь.*

— *Айнс, цвай, драй, фир...* — передразнил её шваб.

— *Алле, алле целен вир!* — поддержали остальные дружной речёвкой — Андрюша потянулся к голенищу. Смех завершил представление — ага, шутка, Егоров придержал руку.

Саксон, назвавшийся Йозефом, заговорил о чём-то, сердито тыча пальцем в газету. Кисть его была перевязана грязным бинтом, говорил он напористо, как учитель, обращаясь то к одному, то к другому. Контин пыталась переводить с немецкого на русский, безуспешно.

— Скоро пойдём? — тормозил её Андрюша. — Скажи ему.

Контин отвечала, что у них тут *митинг*. Они хотят кончить войну.

— Пусть сдаются, — пожал плечами унтер.

Самые опасные — тихие. Егоров следил за руками собравшихся: кто из них прячет оружие? Рассматривал их знаки различия, определяя ранжир. Прислушивался к наружным звукам — не войдёт ли кто ещё? Всё может быть.

— Скоро пойдём?

Контин отвечала: скоро. Сейчас все разойдутся, и Йозеф проводит Андрюшу через позиции: в карауле его товарищи. *Камарад*, сказала она.

Унтер слушал её недоверчиво. Три оборонительных линии — три караула. Чтобы их пройти, три таких Йозефа надо. Мыслями он был уже на минном поле, возле конской падали. Куда нынче ветер дует? — самый важный нынче вопрос. Жизненно важный. Хорошо, если ветер дует на наших, — часовой отвернётся от зловония, и самовольщик проскочит. Не отвернётся — застрелит без разговоров.

Германцы о чём-то заспорили между собой. И Контин туда же, нет, нет, да и вставит слово. Друзья, неприязненно думал унтер. Йозеф принёс маленький плоский флакон на цепочке — аптечное лекарство, выкатил из-под кровати банку какао, завернул доб-



ро в газету и с улыбкой подал Контин. Та с дамской ужимкой гостинец приняла. Туда, сюда — передала свёрток Андриюше: положи к себе, а то я котомку дома оставила.

— Не забудь отдать, — наказала строго. — Лекарство Анжу.

Андриюша кивнул, озабоченный: кто сегодня дежурит на Лошадином люнете?

Вдруг разом со стола исчезла газета, появилось пиво, стеклянная посуда, вилки, хлеб с колбасой. Загомонили все разом, наливают, пьют. И Контин с ними.

Андриюша пить отказался наотрез. К еде не притронулся. Табак курил свой. Сидел сычом, злился: компания веселилась вместе с Тинкой, ей было хорошо без него, он был ей не нужен. Вчера был ой как нужен, а сегодня и не глядит.

Чем не измена? Она не со мной!

Не может понять Андриюша, не согласен он — как это?! Вчерашний ангел исчез, и теперь на его месте, под самым боком, сидит чужой человек, бесчувственный, враждебный. Душа моя Контин! — осиротело метнулось сердце. Что с тобой? Ты где? Услышь меня!

Да ты — оборотень?!

Что происходит, когда исчезает твой ангел? Остаётся пустота, приямок для супостата. А у супостата служба такая: обязан зачистить душу твою от божественных примет, выжечь её адским пламенем.

Андриюша-солнышко горел в аду. На чужих стенах, качались вражеские тени от вычурной нерусской лампы. А тут ещё они запели!

Два немецких запевалы, Бадён и Альзасон, завели строевой германский марш:

*Айн Хе-ле унд айн Ба-ацн,  
Ди ваарен байде майн.  
Я, майн!*

Остальные, ослабившись, дирижировали вилками.

*Дер Хе-ле вад цу Ва-аса,  
Дер Ба-ацн вад цу Вайн!  
Пе-ру-ра —*

И все вместе, припев:

*Хааай-ди-хай-до, хайда,  
Хааай ди-хай-до, хайда,  
Хайди,  
Хайдо,  
Хайда.*

И снова.

И дальше.

Мерно, в такт, да с подкриком, да с подкриком, да с разговорцем между строк. Андриюша слышал эту песню, сидя в окопе, — её пели немцы на той стороне, именно так:

*Хааай-ди-хай-до, хайда,  
Хааай ди-хай-до, хайда...*

Только теперь она звучала лучше, она звучала ужасно хорошо — с подпевками-подрисовками. Как может вражеская песня звучать хорошо?! Это же ужасно.

*Хайди.  
Хайдо.  
Хайда.*

Длинная песня, заведённая, как часы, оборот за оборотом, — всю душу русскую вымотала.

А потом явился Вильхельм, император ихний. И мир сошёл с ума.

Хайда! Пропала Германия. Шабаш в Донтриере, казалось, никогда не кончится. За полночь немцы, как сдурели, давай представлять пародию на Вильгельма Второго, своего императора, на глазах у русского унтера, и француженка с ними. То один, то другой, они выскакивали из-за стола и маршировали на месте, выпучив глаза, с поворотами и отдаванием воинской чести — кому? — гордой статуе, влезшей на посылочный ящик. Надо её нарядить! Притащили штальхельм старого образца, с медным шишаком и германским одноглавым орлом, нахлобучили на голову Континке. Газеты клок сложили в гармошку и пристроили ей под носом, наподобие усов, как у Вилли. Поставили Континку

на посылочный ящик, и она, дура, губы дочкой, прижала усы к своему глупому носу, задрала его кверху и запищала: «*Айне май-не гроссе Круз!*» — это стоило ей жизни.

Вильгельм — штальхельм. Строевым шагом к ней подошёл русский унтер-офицер и, вместо отдания воинской чести, ударил её ножом точно в сердце.

Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский явился на свет вопреки воле Бога. Его борьба со Всемогущим началась ещё в утробе матери, принцессы Виктории, дочери великой британской королевы. Нешуточная борьба шла с переменным успехом сторон, и, по непроверенным данным продолжается до сих пор, но тогда — 27 января 1859 года от Рождества Христова — Бог отец пошёл на мировое соглашение: Вилли родился-таки на свет, но с малым шансом выжить. Как-то: с укороченной шейной мышцей, с разрывом плечевого нерва, с укороченной вдвое левой рукой, с хроническим заболеванием правого уха и прочими мелкими болячками, порой доводившими Вилли до бешенства. Весь укороченный, но не укрощённый, он преодолел все телесные муки, выправил себе шею, отрастил руку, поставил себе на службу кальвинизм, германистику и естествознание, и прочая, и прочая — археология, физика, химия, история искусства... Всё, включая народные пивные традиции и любовные интриги, считавшиеся у слабых наций грехами, питало сильную личность и, таким образом, служило великой идее — расцвету Германии.

В 1888 году Вильгельм Второй вступил на престол, и в первом же обращении к своему народу обещал положить на месте все восемнадцать корпусов германской армии и сорок два миллиона мирных немецких жителей во имя Великой Империи. *Я майн!* Бабушкина Британская монархия и вялый кузен Ники с его неповоротливой коровой — Россией должны были пасть ниц. Республика Франция и Соединённые Штаты Америки для германского императора были временными недоразумениями: их племена не имели вождя, монарха. Кто владел их ко-

лониями?! Никто — какие-то парламенты! Эти колонии следовало забрать себе. Кайзер Вильгельм реформировал германскую армию и вывел её на первое место в Европе по численности, уровню подготовки и оснащению. Но кайзеру достался плохой народ, рассыпчатый, незрелый, не готовый к мировому господству. К 1917 году в Германии лавинообразно размножились безответственные бактерии — социалисты, они парализовали блестящий бюрократический аппарат. Пропала Германия.

Солдат убил ведьму, и сразу всё кончилось. Андрюша очень удивился: на ноже не было крови! Он долго рассматривал клинок штурмового ножа и лежащее у его ног женское тело. В это время германцы пришли в себя, накинулись разом и скрутили его.

Настала тишина. Слышно было только, как дышит русский. Тяжко, будто за двоих, кричат. Германцы вполголоса обсуждали дальнейшее. Резервисты, им не нужны были неприятности, они решили избавиться от обоих.

Глубокой ночью странная процессия покинула Донтриен: двое германцев вели русского унтера со связанными за спиной руками, двое несли на носилках тело французенки, впереди шёл Йозеф с паролем для часовых. По пути от линии к линии отряд редел, один за другим посланцы германских земель откальывались по уважительной причине и пропадали в ночи. К передовому реду вышли два человека — саксонец показывал дорогу, русский, как чабан овцу, нёс на плечах мёртвое тело. Йозеф сдержал слово — вывел.

— *Ги дахин.* — Немец показал рукой на минное поле. — *Зак танен...*

Он задумался.

— *Зак танен: Их виль нах Хаузен. Их. Виль. Нах Хаузен. Видехоле: Их виль нах Хаузен. Видехоле!*

Русский молчал.

— *Репитё: Их виль нах Хаузен!*

Русский, не обращая внимания на немтыря, с грузом на плечах шагнул на минное поле. Саксонец прошипел: «*Менш*» — и двинулся в обратный путь. Оглянулся дважды.

Он нёс её сто лет. Когда чужие солдаты свалили на него мёртвое тело, оно было ещё теплым. Андрюша ждал, когда все уйдут, чтобы дать сигнал Контин. Сейчас он даст сигнал, и она прыгнет с его плеч. Чмокнет в щёку и пойдёт дальше сама. Они перейдут через поле незамеченными, а там ещё немного пройти, и можно будет нырнуть в землянку и улечься на нары рядышком. И уснуть. День был трудный. Она, конечно, притворялась мёртвой. Она умела притворяться. Она расшалилась не в меру, но когда он встал и вынул нож, она поняла его без слов и прекратила этот шабаш, картинно упав с ящика. Она всегда его понимала.

Однако, едва отстал последний германец, саксон Йозеф, Андрюше сразу стало очень и очень одиноко. Так одиноко ему не было никогда. Он стал совсем один. С тяжёлым грузом на плечах. Пришла пора признать — кажется, случилось страшное. Кажется, оно всё-таки произошло. Кажется, ничего поправить нельзя. Андрюша пошёл по полю напрямик. Чёрта ли ему теперь эти мины?

Сколько лет он так шёл по минному полю? Пехота: ноги службу знают, они сами собой пошли по «змейке», грамотно выбирая дорогу. Андрюша не участвовал, всё делали ноги.

Резкий трупный запах на середине пути заставил его сбросить тело на землю. Он видел где-то лопатку. Сходил, подобрал, вернулся. Уложил тело на дно воронки, накрыл дорогое лицо ветошью. Забросал землёй. Побрел дальше пустым. Легче идти не стало.

Русский часовой, незнакомый, лицо — картофелина, встретил его без удивления, спокойно: много таких ныне, гуляют по минным полям.

— Руки подыми, — сонно качнул стволом. Дунул в свисток.

Выглянул начальник команды, незнакомый, лицом не лучше.

— Кто таков?

Заперли.

Таскали туда-сюда, толпились перед глазами бестолково, башка к башке, как карто-

ха в мешке, лица одинаковые, и все до скуки знакомые. «Что это с тобой?» — спрашивают хором и по одиночке, и каждый встречный, поперечный: «Что это с тобой?». Даже смешно — на себя бы посмотрели! Нет, ну, правда, во что вы превратились, братцы?!

Тошнит.

Возили в Реймс. Там оказалось, некому заниматься делом Егорова. Дело передали бригадному Совету солдатских депутатов. Депутаты, вместо дисциплинарного взыскания, избрали арестованного Егорова в батальонный комитет, вернули ему документы, продаттестат. Оружие взамен утерянного выдавать не стали. Потом выдали, когда варуха началась... Ну, не олухи?

Андрюша рассказал без утайки, как он убил ведьму, — никому оно было не интересно. Шабалда, башка репой, с хитрыми ужимками шептал: «Ты про это — не надо. Ты, Андрюша, по делу давай». Привёл Андрюшу на картофельное собрание, там серые клубни, белые глазки, спорили с белыми клубнями, чёрными глазками, — нужен бригадный Совет картофельных депутатов или уже не нужен — хватит батальонных комитетов. Важное дело. Андрюша слушал невнимательно. Вот его и спрашивают — какое твоё мнение, товарищ? И смотрят все — как из мешка. Андрюша мешку и говорит:

— Крикунов — никуда не надо. Рассудительные тут остались?

Тут мешок руки поднял, будто сдаётся. А это у него наоборот — такое наступленье было: голосованье, называется. Выбрали Андрюшу в бригадный Совет картофельных депутатов. Первое собрание тех депутатов проходило в погребке замка Сен-Тьерри, под хорошее угощенье. Принятая после трёхчасовых дебатов резолюция гласила: «Мы, сознательные бойцы свободной России, являясь её верными сынами, принимаем на себя обязательство беспрекословно выполнять приказ командования и принять участие в предстоящем наступлении».

На следующий день Первую особую пехотную бригаду бросили в дело — так называлось наступленье, лекарство от всех болезней.

Перед началом дела Андрюша пошел проведать Контин. Чего хотел? Сам не знал. Наверное, проститься как-то. Пошёл, потому что — надо. С каждым шагом это самое Надо набирало силу, словно невидимая рука тянула его к могиле Контин.

Лошадиный люнет был пуст, линия фронта переместилась на километр в сторону немцев. Беспрепятственно сошёл Андрюша на минное поле, но идти стало ещё труднее, казалось, с каждым шагом ноги его уходят в землю. Теперь он знал, что сделает с ним Надо. Оно уложит его рядом с Контин и выстрелит из маузера в ненужную его голову. И это будет правильно. Но где же то место? Поле было перепахано заново, мины все перебабаханы, останки лошадей раскиданы. В поиске своего места Андрюша, будто в земле по пояс, выгреб к лесу. Дошёл до Донтриера. Тоже разбит неузнаваемо. Ни убитых, ни живых не видно. Встретил знакомого француза, артиллерийца-корректировщика, он на дереве сидел. Поговорили маленько. Француз слез, пошли вместе искать тот дом, где черти куролесили. Не нашли. Двинулись искать дочку Контин — Анжу. Безрезультатно.

Нашли: вино, лепёшку, сыр. Сели на камень, беседовать. На французе тоже лица не было, ему тоже надо поговорить. «Я ангела убил», — повторял Андрюша. Француз в ответ свою историю рассказывал. Андрюша, ни слова не слыша, кивал согласно, и француз уходил, уходил... Так и не поговорили. Что говорить — дело сделано плохо. Дело воинов — убивать, их тому учат и награждают умелых. Тут их тысячи, и каждый по уши в крови, но вместе они чисты. А если вдруг один из них столбенеет: «Я убил» — значит, он сделал что-то не так и выпал из строя, пал.

Что павшим делать? Айда наступать.

Русские роты снялись с засиженных мест, в едином порыве навалились грудями на германские пулемёты и, завалив трупамии линии обороны Курси, обратили бошей в бегство.

Это был эпизод большого сражения, крупнейшего в истории Первой мировой вой-

ны, получившего имя французского главнокомандующего Робера Нивеля. Братцы дрались, как львы. У них ничего больше не оставалось, кроме братства. Ни царя, ни Бога, ни Отечества. Истерики господ офицеров про славу русского оружия нижние чины пропускали мимо ушей, как и остальное прочее — всё, кроме дела. Дело было — бить и не быть битым. Других дел не существовало. От офицеров требовались только грамотные тактические решения и управление тылами — больше ничего. Лишние слова только злили нижних чинов, грубости командиров они жестоко пресекали. Совет солдатских депутатов работал со штабом бригады по согласованному регламенту, чётко и без искажений доводил через батальонные комитеты приказы командования, разъяснял ротам боевую задачу. Это была медовая неделя слаженного взаимодействия.

За мужество и самопожертвование генерал Мазель пожаловал русской бригаде французский Военный крест с пальмами, он собственноручно прицепил знаки отличия на знамёна Первого и Второго пехотных полков. С точки зрения военной науки, это была лучшая неделя во всей экспедиции Первой особой бригады.

А по сути это был провал. Широкомасштабное наступление Нивеля захлебнулось, жертвы оказались напрасны. Люди озверели. Русские офицеры, обученные по прусскому образцу, были не способны этого понять. Они требовали соблюдения формы одежды от зверей, вкусивших крови. Они пили за здоровье уже отрёкшегося Государя Императора, стояли насмерть за офицерскую честь, теряя остатки благородства: били «серую скотинку» лично — не розгами, и даже не стеком, а самолично, своей рукой, били в зубы, становясь тем самым на одну доску.

Вот Андрюша ведёт отряд на земляные работы, его догоняет Сёма Фомин, в запыхе докладает: Шабалда пленных казнит! Двое пленных!.. Унтер с неохотой передаёт отряд ефрейтору, идёт за Фоминым.

Тот взвинчен, машет руками кому-то вдалеке:

— Погоди! Погоди!

Егоров морщится. Там, вдалеке, к воронке ведут уже троих. Конвой — Шабалда, Попов и ещё пятеро из четвёртого взвода — тянутся следом.

Егоров приблизился.

— Что тут?

А картина-то занятная — под расстрелом трое: два чуть помятых немца, и третий, с ними в один ряд, — поручик Белореченков! Взводный командир, руки скручены, кровь из носа аксельбантом, глаза дикие.

У Миколки Шабалды — такие же дикие глаза. Мечется, кулак отбитый трёт, братца за лебель хватает — стрелять. Тот не даёт.

— Что тут, ити твою мать? — рыкнул Егоров.

Попов:

— Лазутчиков поймали, а этот влез!

Белореченков, в ответ:

— Они ПАРЛАМЕНТЁРЫ! — брызжа кровью.

— Диверсанты! — ярится Шабалда, кривая рот. — Стрелять на месте! Есть приказ!

Егоров смотрит представленные тухлым глазом. Ждёт. Разглядывает кривой рот одного, разбитый нос другого. Белые от страха глазки молодого немца. С ним в ряд стоит пожилой немец, хочет слово вставить — не дают. И видит Андрюша в пожилом что-то знакомое... Йозеф. Тот самый, саксонец. Да. Точно, он.

Радости мало. Почему бы и не стрелять?

Только стрелять его нельзя. Странная эта мысль — «нельзя» — забрела в унтерскую голову, по всему видать, случайно. Здесь стреляли все. Иногда друг в друга — но это редко, и не потому, что «нельзя», а потому, что себе в убыток. А вот германца, пленный он или не пленный, — сам Бог велел. Или штыком.

Откуда эта мысль — «нельзя» — пришла? К чему она? Не досуг разбирать. Только показалась она Егорову дельной.

— Проорались? — говорит Андрюша братцам. — Отойдём.

Отвёл Миколку и Коляшу в сторону. Спрашивает тихо:

— Эти двое — у них оружие было?

— Конечно! — орёт один.

— Бросили! — вторит другой.

— Значит, не было. — Андрюша небрежно строит *блюфо*: — Я их видел. В бинокль. Они шли без оружия и с белым флагом.

— Не было флага! — орут оба.

— Белый бинт, марля. Вы не туда смотрели, братцы, — блюфует Андрюша. — У них слово есть к командиру. Для замирения. Домой хочешь? Дай мне конвой, я всех троих к командиру сведу. Для замирения.

— Мы поймали, мы и поведём! — спорит Коляша.

— Кого ты поймал? — устало возражает ему унтер. — Никого ты не поймал, Попов, они сами сдались. Не дадут тебе мядаль. Курить будешь?

Шабалда с Поповым отстали. Егоров повёл пленных и избитого Белореченкова под конвоем к штабу: разберёмся.

Поручик потрясённо крутил головой, следуя за унтером, не понимая, как он оказался в числе пленных.

— А этого? — обиженно вопрошал он про обидчика Шабалду. — Этого надо забрать!

Егоров остановил всю группу и, обращаясь к Белореченкову, молвил такие слова:

— Господин поручик, ты же умный.

Все, конвой и пленные, мало что поняли, но поглядели на офицера сурово.

— Ты поди, умойся да в штаб приходи, — тусклым голосом посоветовал ему Егоров.

— Пиши рапорт о переводе в другой полк.

— Егоров, ты не смеешь!..

— Я могу и помолчать, что мне. Да только стрельнут тебя здесь — нечаянно. А так — поживёшь ещё, Бог даст, послужишь. Поди, умойся, господин поручик. Айда, ребята.

Сдал парламентёров начальнику караула. Куда там после их дели — Бог весть, а Белореченкова со взвода убрали, в другой полк перевели от греха. Четвёртый взвод передали унтер-офицеру Егорову, комитет утвердил его кандидатуру.

Прав — не прав, виноват — не виноват... Эти заботы — для гражданской жизни. На войне нет морали. Есть приказ, который

некогда обсуждать. Есть хитрость, которую нечего обсуждать, если она удалась, а если не удалась — тем более нечего. Есть уменье забыть прошедшую минуту. Мерило — сиюминутная целесообразность.

«Колесообразность», как говорил Бондаренко, однокашник по унтерской школе в Шалёне. Шалён... Экая чушь в голову лезет. Молодой был, глупый, — вот и вся солдатская мудрость: уменье не помнить, не тащить на себе эту навозную кучу правды-неправды, доброзла и подлорадости.

Трёхцветная ниточка на Андриюшином пальце от лютого военства почернела, а потом и вовсе пропала куда-то. Зато латунное кольцо со стёртым именем, напротив, незаметно вросло в плоть.

## Восстание

Западный фронт не шелохнулся. Многомесячная бетонированная стабильность французского театра военных действий наливалась абсурдом, отравляя им Европу и дальше — Азию, Африку, Америку... Робер Нивель был снят с поста главнокомандующего, его место занял Филипп Петэн. Блестящая победа наших пехотинцев под Курси померкла и забылась, победители потерпели моральное поражение такой глубины, что их дальнейшее присутствие на Западном фронте стало для Франции небезопасно. В ночь с 19 на 20 апреля 1917 года русских пехотинцев отвели на заслуженный отдых в тыл.

Пару дней братцы отсыпались. Ещё неделю отмывались, отъедались, обживались на новом месте. Военный лагерь Ля Куртин департамента Крё — это регион Лимузен, глубокий тыл. Две дюжины каменных двухэтажных казарм в два ряда. Как обычно, без ограждения. Впервые за тринадцать месяцев пехотинцы ничего не рыли — ни траншей, ни землянок, ни могил — в их жизнь пришла оглушительная пустота. И в Петроград полетели тревожные вести о пьянстве солдат, драках, бесчинствах и грабежах мирного населения.

Желанный отдых для боевых полков обернулся их гибелью.

В казармы зачастили разномастные агитаторы из Парижа с лекциями на политические темы. В солдатском понимании они делились на два толка: мирные пораженцы и буйные империалисты. Пораженцы читали солдатам прокламации «Нет войне!». Империалисты призывали к «Воине до победного конца!». Нетрудно догадаться, какой лозунг был усталым солдатам ближе.

По требованию солдатских комитетов полковые знамена Первой особой дивизии, с изображениями святых покровителей и приколотыми орденами, были аннулированы и отправлены в канцелярию военного агента.

1 мая 1917 года депутация русских солдат, сдавшая в канцелярию православные знамёна, участвовала в демонстративном шествии в Париже под красными флагами с лозунгами «Нет войне!», с пением «Марсельезы» и «Интернационала». Русское командование оказалось бессильно запретить участие своих солдат в мирной демонстрации.

Андриюша в Париж не поехал, не хотел ничего демонстрировать. Его война была кончена. Но и мира он не видел. Оставаться в чужой стране незачем. Но и домой возврата ему нет. Почему? Разбираться тошно.

Люди в его глазах рассыпались и раскатывались, как картофель из мешка, — одинаково разные: всяк по-своему кругл. Унтерский взгляд делал различия только по расположению глазков на картофелине головы: ровно ли стоят, криво ли, а то вообще ничего на лице нет — одна пасть.

Егоров стал — как Кузьмин.

Два унтера — одно лицо: старое, кривосое, взгляд, проникающий насквозь и ещё на штык в землю. Они часто встречались с Кузьминым, но говорить им было не о чем. Сидели бок о бок, курили, молча, расходились по службам.

Сёма Фомин, по унтерской классификации, был картофелиной дряблой, никуда не годной и потому неистраченной. Так, перекатывается из угла в угол вместе со всеми. С Фоминым рядом любая мелочь казалось



сама себе здоровой и полезной. Эти его рисунки — мать. Радости от них никакой: голых баб — и то рисовать Сёма разучился. Хочешь услышать глупости — поди, покури с Фоминым. Развлечение.

Миколка Шабалда стал мороженный, твёрдый, как булжник. Все прибаутки забыл, параграфами новой власти сыпет, куда деваться. Строгий.

Коляша Попов: покрылся красной плесенью. Поддакивает Шабалде, подмигивает Егорову: земляк, с одного поля. И что на том поле сеять?

Кто там ещё? Рувимка Меликов — тот в норме. Картофель первый сорт, французский Военный крест добыл. Он за войну до победного конца и ещё дальше.

Белореченков... Клубень чищенный, белый, глазки вырезаны — ростков не даст. Его место в супе. Русский, он больше прусский, чем сам Бисмарк. Тяжко думать о нём Андриюше, толпятся тени: Йозеф, Вильхельм, Контин — она просила отдать гостинец, а я не отдал... Заноза в сердце.

Артиллерист, капитан Загоруйко, новый знакомый. С ним вместе заседали на совете депутатов, потом пили шнапс в его комнате. Загоруйко на собрании представлял штаб полка, а после — дружил с Андриюшей, видя в нём «будущее России». Учил Андриюшу «артиллеризму» — привязке цели жизни к ориентирам на местности. Угол наведения, картуз пороха, баллистика судьбы — это уже под утро, в пьяном бреде. «Ваше картофелеродие» — смеялся Андриюша. Загоруйко обижался и «уходил к Морфею».

К сожалению первомайская «Марсельеза» русских пехотинцев никаких результатов не дала.

Генерал Луковицкий пытался настроить работу штаба. Тщетно. Офицеры митинговали. Одни стремились на фронт, в дело, другие возражали, считали боеготовность дивизии крайне низкой, третьи вообще не признавали Временное правительство, Петроградский комитет и все новые порядки.

Солдатские комитеты, конфликтуя с растерявшимся командованием, были вынуж-

дены выходить за пределы своей компетенции. Беспорядки в лагере приобрели угрожающие масштабы.

Солдаты перестали брить бороды. Единой формы одежды не было. Единomyслия не было ни в чем, кроме еды. Братцы держались вместе только ради кухни. Но вот участились перебои с доставкой продовольствия, и братство сошло на нет.

— Где командиры?! Командиры — где?!

Солдаты нуждались в начальниках. Но в таких, чтобы «без гнильцы». «Гнильцу» они выявляли хамским окриком, толчком в грудь. Командиров становилось всё меньше.

Унтера Егорова никто не цеплял. Опасались не столько даже его увесистых маховиков, сколько тяжёлого, безразличного взгляда. Его не за что было зацепить, и нечем — ни матом, ни едой, ни выпивкой, ни властью. Звали на собрания, склоняли к тому или иному мнению, добивались его поддержки. Он никому ничего не обещал, во фракции не входил, голосовал по собственному разумению и всегда оставался равнодушен — в меньшинстве ли, в большинстве ли... Это, кстати, нравилось капитану Загоруйко. Капитан в обществе Егорова спасался от хамства нижних чинов, а заодно испытывал на Андриюше свою теорию жизни.

— Ветер! — изрекал Загоруйко и выпускал из носа две струи табачного дыма. — Мы не знаем силу ветра. Прوماх неизбежен. Ты газеты читаешь, Егоров?

— Только в гальюне.

Ветер дул траверсом, поперёк цели. Цель, заданная Отечеством, была приколочена насмерть: победа над Германией. Но ветер — невидимая сила — сносил в сторону и стрелу, и Германию, и Отечество... Победа укатилась кубарем.

Начало куртинской трагедии падает на 5 июля 1917 года. Батальоны Первой особой бригады отказались выйти на занятия по боевой подготовке, заявив через своих депутатов о нежелании сражаться на французском фронте и требуя немедленной отправки в Россию. Бунт!

Генерал Луковицкий, знакомый с солдатской средой, усомнился в единодушии бунтовщиков и предложил им определиться на уровне взводов: кто готов служить, и кто не желает. Всё-таки он был чертовски умён. *Разделяй и властвуй.*

С утра до вечера в батальонах шумели митинги. Офицерам говорить не давали. Слушали солдатских депутатов, засыпали их жалобами — орал про отсутствие почтовой связи с родиной, припоминали все обиды и лишения, духоту в трюмах транспортных судов... Лучшее всего слушали Петра Хлыбу, председателя Бригадного совета. Старший унтер-офицер Хлыба, громкий, моторный, непреклонный, говорил правду в глаза всем — и нижним чинам, и начальству. Все вокруг только диву давались — где он был раньше, правдорез?

Большая часть нижних чинов, около двенадцати тысяч, проголосовала: «Нет войне!».

Луковицкий вывел лояльные ему подразделения, около четырех тысяч штыков, из лагеря Ля Куртин. Вместе с ними лагерь покинули все французские хозяйственные службы и комендантская рота.

Пулемётчик Рувимка Меликов ушёл за Луковицким, бить германцев. На пороге, столкнулся с Андрюшей.

— Идешь? — спросил Рувимка с напором.

— Не настрелялся? — отбил атаку Андрюша.

— Ты думаешь, вас домой отправят?! — Рувимка как с цепи сорвался. — Да вас казнят как изменников! И правильно сделают! И тебя казнят, Егоров! И домой тебе напишут: казнён изменник! Ну, идешь?

Егоров отозвался хмуро:

— Иди, иди, пока тебя ребята не казнили.

Меликов бешено скалился, кривился, но не уходил, зачем-то мешкал. Искал слова.

— У меня тоже была одна, — чужим голосом пустился Меликов в ненужный разговор. — В Одессе. Спуталась там с одним, конторским. Я его на перо и ходу. И правильно сделал: измена! Всех вас надо!.. Вот и молчи! Идешь?.. Не идешь?..

Коляша Попов, земляк, ушёл тайно, не попрощавшись.

Высыпавшие на дорогу «изменники» провожали «верных присяге» оскорбительным свистом. Но настоящей, лютой ненависти между ними ещё не было. Так — неприязнь, цветочки, пряности. По сравнению с дальнейшими событиями, всё предыдущее — окопный страх, рукопашная резня, будничные захороненья, стёртые ноги и простреленная «говядина» — всё это вши, мелкие неудобства. Обыкновенная война, древнейшая профессия мужчин. Впереди было нечто сложное, неизвестное, неподвластное разуму — мрак междоусобицы.

В семнадцатом году, на макушке лета, у распахнутого окна казармы сидят двое «неверных» — Андрюша Егоров и Сёма Фомин. Оба распоясанные, сидят они за столом, закапанном чернилами. Жара. Сёма на листе бумаги рисует новое знамя восставших: на белом фоне вместо лика святого — лимузенская роза и под нею надпись, утверждённая советом: «Сводный отряд Первой особой пехотной бригады форта *La Courtine*».

— Белое полотно. Красная роза. Золотые буквы.

Сёма клонит голову то к одному плечу, то к другому — любитесь, как оно будет выглядеть, новое знамя, на ветру и в помещении.

— Золотая бахрома с кистями.

Андрюша не глядит на лист. Уставился на Сёму. Курит, хмур.

— Ну, давай, вышивай, — говорит насмешливо.

Вышивать золотые буквы нечем, не по чему и некем. Фомин, чуя выволочку, уводит глаза в окно. Там знойное марево над крышей противного здания.

Егоров выдыхает тяжесть.

— Белое полотно не годится, — мирно молвит. — На белый флаг похоже. Мы за мир — но до последней капли крови. Красный флаг возьмём — вон он, готовый. Бахромой потом пришью, после победы. Золотая краска у тебя есть?

— Откуда, Андрюша.

— А какая есть?

— Зелёную я видел. Засохшая, но можно бензином...

— Рисуй зелёной.

— И розу зелёной?

— И розу. И надпись покороче. Пиши: «Св. отряд 1-й Ос. пех. бр. форта *La Courtine*». Вопросы?

Андрюша зевает. Веки его смыкаются: он уже неделю не может спать ночами — только днём на четверть часа, сидя.

Фомин тоже дремлет за компанию. Тут тархтелка на плацу — автомобиль, незнакомый. Чины трут глаза: в кабине водитель и офицер. Офицер поднимает очки и аккуратно пристраивает их над козырьком фуражки. Сходит на плац; ладные хромачи блестят, как чёрное солнце. Снимает с плеч французскую пелерину, стряхивает с неё пыль и кидает на сиденье. Он в русской форме, в звании прапорщика, похоже — «верный присяге», из Фельтэна. Идёт к казарме, в руках портфель.

Егоров и Фомин подпоясываются, надевают фуражки.

Офицер входит без стука. Ждёт рапорта.

Чины безмолвствуют. Соловые от жары, глядят недобро.

Нежданный гость представляется с ноткой вызова:

— Для особых поручений, прапорщик Акмелёв. Где тут у вас этот?.. Совет?

За окном штабной автомобиль уже обступили голые по пояс ребята — закурить, поговорить с водителем: что там вокруг, вообще? Шумновато, и гость картавит — не выговаривает «р» и «л»: *пгапогщик Акмелёв*, — кто это?

— Совет — это здесь, — отвечает Андрюша, не спеша и не по форме: — Член Бригадного совета Егоров перед вами.

Оба держатся вольно. «Пьяны!» — злит-ся прапорщик, но выражается дипломатично:

— Примите пакет — ультиматум Российского военного агентства во Франции бунтовщикам.

Вынимает бумагу с орлом, вручает её Егорову.

Тот расписывается в получении, садится за стол, читать.

— Садитесь, прапорщик. Чаю?

— Благодарю, нет.

Егоров читает медленно, ведя грубым пальцем по строке. Интересуется, уперев палец:

— «Сложить оружие» — это где?

— Где?

— Вот тут написано: «Сложить оружие» — и не написано, где. Где?

— Тут, — указывает кивком себе под ноги Акмелёв.

— А-а. — Унтер складывает бумагу вчетверо и прячет в нагрудный карман. — Я доложу Совету. Ответ получите в течение месяца.

— Трое суток! — Глаза Акмелёва жутко косят, направление взгляда не определимо.

— Ну, трое, — равнодушно соглашается Егоров. — Какая разница...

Он чувствует себя страшно старым. Хотя ему всего двадцать три.

«Пьян, как кучер!» — Акмелёв шагает к автомобилю, ладные хромачи блестят, как чёрное солнце. Ему тридцать один.

Тревожное слово: ультиматум. Тревожное гуденье на нарах:

— «Уйти матом» — это что за хрень такая?

— Ультиматум: или сдаёмся — или расстреляют.

— Сдадимся — всё равно расстреляют.

— Ничо не расстреляют, даже если не сдадимся!

Урок французского в августе семнадцатого:

*Ком* — лагерь.

*Ком Фельтэн* — война.

*Ком Куртин* — мир.

*Ву компрене?*

Ни пса не понять: Фельтэн, Куртин... Ультиматум — ну, и что? С первого дня службы слышим угрозы: «Сгною на каторге! Расстреляю на месте!».

Член Бригадного совета Егоров разъяснил обстановку. После этого лагерь Ля Куртин покинули шесть тысяч человек, половина мятежников. Они ушли нестройной колонной, оставив оружие в лагере.

К концу лета все сомневающиеся покинули стан мятежников — кто заболел, кто симулировал, кто открыто дезертировал, кто тайно. Стихийная очистка рядов дала возможность Бригадному совету восстановить в лагере некоторый порядок: хозработы, учёба и несение караульной службы. Но составить точный список личного состава не удавалось; приблизительно, в лагере находилось около пяти тысяч человек, они себя наименовали Отрядом Ля Куртин.

Мятежники тянули время, ожидая помощи от Центрального совета депутатов. Вместо помощи прилетел тумак. В начале сентября 1917 года революционный Петроград отозвался приказом о немедленной и окончательной ликвидации куртинских мятежников.

*Генералу Казакевичу. ПРИКАЗЫВАЮ: привести к повиновению Первую русскую бригаду на французском фронте и ввести в неё железную дисциплину, не останавливаясь перед применением вооруженной силы, по закону военного времени. Военный министр Керенский.*

— Хайди-хайда! И кто тут изменник?!..

В Центральном совете солдатских и рабочих депутатов вопрос о пребывании русских войск за границей вообще не поднимался, ему хватало внутренних забот.

Генерал Казакевич, во исполнение приказа, завершил формирование карательного полка: пять пехотных батальонов по восемьсот человек, две пулеметные роты с сорока восемью пулеметами. Из двух батальонов был организован сводный, так называемый «батальон смерти», во главе которого встал полковник Георгий Готуа. Остальные три батальона получили название «батальонов чести». Чтобы отличить нападающих от обороняющихся, первым побрили бороды и на левый рукав повязали синие повязки.

Для приведения в покорность солдат лагеря Ля Куртин была задействована русская артиллерийская бригада под командованием полковника Белова, нацелившая на От-

ряд «изменников» пушки. Французские драгуны и конная жандармерия блокировали район войсковой операции.

Ужинали из банок английской треской, галетами из пачек, запивали кипятком, глотком шнапса, у кого был. Андрюша свою пайку выпил ещё в Донтриере, и теперь на сухую смолил нутро табаком.

Петро Хлыба барабанил пальцами по столу. В задумчивости он обыкновенно собирал кожу лица в тугой комок на переносье.

— Почему они там? — силится понять. — Почему они там?

— Кто? — спросил Андрюша, чтобы приостановить барабанные дробы.

— Наши. Наши — там, в Фельтэне, — почему? Ведь мы же им всё ясно растолмачили: мы не враги! Почему они не скинут того Казакевича и не придут к нам? Сидят там, в шатрах, а впереди зима. А мы под крышей. Давай ещё раз напишем! Пусть идут к нам. Они, верно, не получили наших писем.

— Получили, Петро, получили.

— Да не може того быть!

— Им растолмачили, что Петро Хлыба вор, сифилитик, хочет царём стать.

— Да полно. Они ж мене знают.

— Смешной ты, атаман.

Хлыба взъерепенился, перейшов на украинську мову:

— Може, то я весь ихний спирт выдул? Може, то я ихние гроши притырил? Може, то я их на убой послав?! Кажы мене! Кажы раз!

— Зараза. — Андрюша прикуривает от бычка уже пятую сигарку. — Нет, не ты. Это Романов нас всех на убой послал. Казакевич наши гроши притырил. А его зам по тылу наш спирт французам продал.

— Во — ты верно розумиешь. А они шо? Дурней тебя?

Вышел Андрюша на двор, а там сидят братцы квёлые и песен не поют. С ними сел.

Вот и Фомин его, Егорова, спрашивает:

— Почему мы здесь?

Андрюша задумался.

Шабалда завёл шарманку:

— Да ничо не будет, Сёма! Не станут же они своих стрелять!..

Замолк. Все ждут, что Андрюша скажет.

Ну, что делать? Егоров — Фомину, отвечает как бы:

— Сёма, иди к ним, туда. Что тебе тут? Тут опасно. Там нет. Иди туда.

Все давай молчать дальше, а Сёма-дурак и говорит:

— Я не могу: я розу на знамени рисовал. Пусть Шабалда к ним идёт.

Слабая надежда, что французы не допустят артиллерийской стрельбы в центре страны, растаяла 16 сентября 1917 года в десять часов утра.

Со стороны Фельтэна было сделано три предупредительных выстрела из 75-миллиметровых орудий шрапнелью на высоких разрывах. Отряд Зелёной Розы затаился.

Весь следующий день фельтэнцы стреляли по лагерю Ля Куртин — сигнальными редкими залпами через равные промежутки времени. Мятежники привычно укрывались в щелях, потери были невелики, но как только пушки замолчали, в лагере показались белые флаги. К вечеру сдалось около четырёх тысяч человек. Их, безоружных, вывели в карантин. В лагерь вошел карательный «батальон смерти». Его цепи встретил пулемётный и ружейный огонь из нескольких точек — оставшиеся в лагере мятежники, численностью около трёхсот человек, продолжали сопротивление. Каратели окружили непокорных, начали осадный обстрел.

На третий день «батальон смерти», не сломив сопротивления бунтовщиков, покинул лагерь, и за дело снова взялась артбригада.

Потом опять штурм, осада казарм. И опять: отход — обстрел — штурм, рукопашные схватки...

Так несколько дней.

Русские с русскими. В центре Франции. Бились жестоко, — не сравнить с траншейной резнёй на германском фронте.

Ненависть лютая и необъяснимая. Необъяснимая, потому что — без причины. Ну какая причина? Какая? Мятежники, как

и каратели, были одного роду-племени, из одного окопа, и те, и другие без царя в голове и без Маркса: какой такой Маркс?.. И те, и другие тосковали и голодали одинаково. И надежды вернуться к семьям были одинаково малы и у тех, и у других. За что же они дрались?! За что рвали друг друга, как бешеные собаки?!

Ни за что.

Уцелевшие обрели волю без края.

Сёма-то, Сёма Фомин, квёлый овощ, теперь смеялся и пел цыганскую плясовую незнакомым голосом. Невиданные ране весёлые морщины разбежались от глаз его двумя венками. Братцы переглядывались и подмигивали друг другу. Казалось, они миновали перевал, и на той стороне, за рубежом здравомыслия, стали свободны как птицы. Назад хода нет — так и жалеть больше не чем. А коли так, и страхов нет, и смерти нет. Впереди избавленье, Царство Божие, айда!

Под новым натиском карателей разлетелись, соколы, в разные стороны и потеряли друг друга навсегда.

## Поэт на войне

Парижское утро.

Дом напротив пересечен утренним светом накоса: верхняя его часть светится нежно-розовым, нижняя погружена в прохладную тень, рубежная диагональ изломана архитектурными причудами. Николаю Степановичу пришло в голову, что вся архитектура в конечном итоге может быть сведена к сочинению этой ритмической изломанности, рифмованной, как стихи.

Дом напротив построен в классической форме XVIII века: особняк в два этажа, с мезонином, на погребках, — таких много и в Петербурге. Николай Степанович Акмелёв задумался о родном языке — его великорусских тёмных «погребках» и французских светлых «мезонинах». О радости и грусти каждого дня.

В квадратном окошке мезонина напротив, убранном блондами и рюшами, с трогательным цветочным ящичком на подоконнике,

ему виделся тамошний житель — тоже Николай, и тоже Акмелёв. Вот он стоит сейчас там, напротив, и смотрит сюда, через улицу. И ничего в этом нет странного: пусть не Николай, а — некая пожилая мадам в чепце. Или лучше — Елена, в пеньюаре... Сию игривую фантазию Акмелёв преодолел масштабным зрелищем — он мысленно снял фасад особняка, и все помещения и переходы открылись его пронзительному взору — муравейник в разрезе: мусор человеческого быта.

Николай Акмелёв был поэтом. Он стоял посреди спальни в исподнем и, устремив взор в окно, воображал себя свечой — высокой, прямой, разгорающейся свечой — утренней, лишней свечой... Свет и горечь — камертон нового дня. Акмелёв пользовался им неохотно, но каждое утро. Как алкоголик рюмкой водки, — смеялся над собой поэт. Он и вправду считал силу своего воображенья слабостью. Воображенье, будучи необуздано, уносит в облака, лишает речь внятности, а голову — рассудка. Нет более жалкого существа, чем поэт в плену вдохновенья. Николай Акмелёв был ещё и солдатом, он не желал быть в плену.

Очаровательная мадам Консье подала к завтраку «гоголь-моголь» — взбитые куриные яйца с ромом. Николай Степанович сосредоточенно выпил: для голоса. Застарелый бронхит, фронтовой трофеей, вносил ненужную хриплость в его и без того неподатливую речь.

Как музыкальны мои стихи! И как груб речевой аппарат.

В недавнем прошлом улан, Георгиевский кавалер, вкусивший и окопной маеты, и лазаретной боли, Акмелёв не считал нужным усложнять армейские отношения. Он верил: согласно уставу, есть хорошие солдаты, и есть плохие. Хорошие есть добро, плохие есть зло. Зло достало его в благоуханном, балетном Париже, оно устами истеричного старика нанесло ему травму. Зло должно быть наказано, и тянуть с этим нельзя.

Его эстетическое чувство, оскорблённое зрелищем солдатского бесчинства, вторило ещё яснее и короче: «Зверинец!».

Поэт и война — кому-то эти вещи покажутся несовместны, как гений и злодейство. А для Николая Акмелёва в ту осень они изумительно дополняли друг друга, как конь и всадник, — Поэт на Войне верхом.

Прапорщик Акмелёв подготовил предписание комиссара Райха о полномочиях командира новоприбывшей артиллерийской бригады полковника Белова — вплоть до физического уничтожения лагеря Ля Куртин.

В частной беседе поэт-улан остроумно именовал мятежный лагерь: *Бля-крутин*.

15 сентября 1917 года генерал Казакевич объявил бунтовщикам «последний ультиматум» о немедленном прекращении бунта и сдаче оружия. Бунтовщики ответили отказом.

16 сентября в 10 часов утра время ультиматума истекло, никто не сдавался, и генерал Казакевич отдал приказ открыть по лагерю Ля Куртин артиллерийский огонь шрапнелью.

Эффективность стрельбы категорически не устроила комиссара Райха. Он срочно телеграфировал в Петроград:

*Сегодня в 10 ч. утра произведены первые выстрелы, которые попали в деревню.*

Но психологический эффект был достигнут. К вечеру сдалось около шести тысяч мятежников.

*В лагере осталось несколько сот бунтовщиков, укrywшиеся в здании офицерского собрания, среди них много главарей. Люди эти с наступлением темноты открыли ружейный и пулемётный огонь по нашим цепям.*

17 сентября по лагерю открыт интенсивный артиллерийский огонь осколочно-фугасными снарядами.

В 11 часов 30 минут дня большая часть мятежников с белым флагом покинула осаждённый лагерь. Им была оказана медицинская помощь.



За оставшимися в лагере бунтовщика-ми из Фельтэна выступили роты «батальона смерти» полковника Готуа. Они были встречены интенсивным ружейным и пулеметным огнём из окон казарм. Рассредоточившись, фельтэнцы попытались обойти опорные точки восставших.

С высоты наблюдательного пункта Акмелёву было видно: обученные наступлению цепями, пехотинцы теряются в уличном бою. Не видя, не слыша друг друга, они действуют вслепую, нерационально, а то и во вред друг другу. Управление штурмовыми группами невозможно. Ручные гранаты летят куда попало. Нарукавные повязки не видны, или утрачены? В свалке рукопашных схваток фельтэнцы уничтожают своих.

Николай Акмелёв опустил бинокль и произнёс с чувством:

*О Господи, спаси Россию  
и наших русских дураков!*

Стоявший рядом командир батареи перестал материться и перекрестился.

18 сентября. Новый артобстрел. Из до-несения генерала Казакевича:

*Утром, в течение одного часа, выпущено 100 снарядов, в течение дня — 488 шрапнельных и 79 гранат.*

Канонада, как на фронте. Французы нервничают: Верден уже здесь, в Лимузе-не?! Пропала Франция.

После обеда «батальону смерти» выдан фронтальной порцион — каждому «смертнику» мерка водки и шматок сала. Грозное название батальона незаметно обернулось в ротах настроением обречённости. В солдатских головах не укладывалось, как это возможно — бить своих, русских, православных. Закон Божий велел прощать, ведь каждый из нас в душе изменник, окаянный грешник, не судите да не судимы будете... «Не рассуждать!» — команда. И в драку, пропади всё пропадом, зубами его за нос...

Весь вечер и всю ночь, во тьме отчаянья, ползали, как черви, прятались друг от друга «верные» — «неверные»... Утром сдались ещё полсотни. В их числе несколько фельтэнцев, потеряв повязки и ориентировку, сдались фельтэнцам. Никто не удивился.

Предводитель восстания Пётр Хлыба был застрелен на месте.

По другим сведениям, *Пьер Глоба* был арестован французским патрулем месяц спустя, в городе Лиможе вместе с любовницей-французенкой *Жанетт Сомье*. Есть фотография: русский унтер-офицер, похожий на Хлыбу, без ремня, позирует с французскими офицерами. Ходили слухи, что новый Пугачёв был обменен в Советской России на пять французских шпионов.

19 сентября с восставшими было покончено. Утром, генерал Казакевич доложил в Петроград военному министру Терещенко:

*Констатированные потери мятежников до вечера 18 сентября: 10 убитых и 44 раненых. Действительные потери должны быть значительно больше.*

Действительные потери не поддавались оценке. Прапорщик Акмелёв, готовивший сводку для военного агента Райха, был совершенно обескуражен арифметикой операции «Ля Куртин». Списочный состав злополучной дивизии не соответствовал реальному количеству людей в лагере перед бунтом. После подавления бунта общее количество убитых и сдавшихся, по одним источникам, превышало списочный состав вдвое, по другим источникам была существенная недостача нижних чинов. Некоторые чины не были сосчитаны, другие умудрились за пять дней сдаться и дважды, и трижды. С обеих сторон были перебежчики; вообще, разделить стороны не представлялось возможным: теперь все клялись в верности Временному правительству и лично генералу Казакевичу. После расчистки территории обнаружили неучтённые захоронения неопознанных тел и фрагментов.

Очень скоро прапорщику Акмелёву итоги побоища стали представляться адовой прорвой, куда улетели и продолжали улетать души христиан бесследно.

Неразбериху усугубляла разница интересов: старшим командирам было выгодно списать своих дезертиров как погибших, а командующий дивизией был склонен преуменьшить масштаб беспорядков во вверенном ему соединении.

И главный фактор — время! Надо было срочно что-то делать с нижними чинами взбаламученной дивизии. Строевая часть круглые сутки разбирала дела мятежников, сортировала их по степени провинности и назначала им дальнейшую судьбу. Об оценке «действительных потерь» забыли: конец сентября 1917-го, Петрограду уже не до оценок. Прапорщик Акмелёв был командирован в лагерь Ля Куртин, на помощь в разборе солдатских дел.

Как-будто у солдат могут быть какие-то «дела»!

Николай Степанович в строевой части дивизии, заваленный бумагами армейских грамотеев, погибал от метафизического удушья. Ощущение распада бытия стало настолько сильным, что мирозданье закачалось — посыпался хлам событий ненужных и зачем-то раскалённых, из всех щелей полезли чумазные бесенята — прямиком в Наполеоны. Хотя... Какие Наполены? Всё это нисколько не похоже на Великую революцию. Какой-то дикий бред. Колодец тёмный, тесный, и только вверху, далеко-далеко, — Синяя Звезда Елена.

С таким трудом и невероятными потерями объединённая Первая особая пехотная дивизия опять должна быть поделена — теперь на три части: боеспособную, трудоспособную и никудашную.

Из боеспособных солдат, желающих продолжать войну с германцами на стороне французов, решили сформировать «Русский легион чести» под командованием генерала Луковицкого. Туда влились остатки «батальона смерти» Готуа и других верных присяге батальонов. К ним записался коман-

диром пулемётного расчёта унтер-офицер Рувим Меликов.

Трудоспособных, не желающих больше воевать, французские власти намеревались использовать как рабочую силу на полях и рудниках своей страны. В одну из «трудовых рот» определили бывшего рядового пехотинца Николая Попова.

Прочих, никудашных пораженцев, симулянтов и дезертиров, вроде золотаря Мишки, предстояло отправить подальше в Африку — Марокко или Тунис...

Прапорщику Акмелёву в розыске зачинщиков помогал писарь строевой части Никодимов, обладатель красивого почерка и уникальной памяти — личные дела офицеров дивизии он помнил почти наизусть, а их было ни много ни мало четыреста папок. Ещё у него были очки и правильная привычка держать рот на замке. Он отвечал ровно на те вопросы, которые ему задавало уполномоченное лицо.

— Никодимов, тебя как звать?

— Иваном, господин товарищ прапорщик.

— Зови меня Николай Степанычем.

— Слушаюсь, Николай Степаныч.

Время: 22 часа. В штабе солдаты моют полы. Адъютант с писарем, отупев от бумажной работы, пьют чай прямо на папках, под лампой. За окном непроглядная тьма, сухая лимузенская осень. А в Лондоне, поди, дожди: слякоть и конский навоз в переулках...

— Иван, ты в Лондоне был?

— Никак нет-с.

— А где был?

— В Москве был.

— У меня в Лондоне скоро книга выйдет, — откинулся в кресле Николай Акмелёв. — Стихи.

— Хорошие?

Поэт рассмеялся и объявил с невыразимой горечью:

— Про любовь!

— Я тоже книгу пишу, — вдруг сообщил Никодимов. — Ну, не книгу, а так...

— Ты?!.. — Глаза Акмелёва от удивленья разбежались в разные стороны. — Про любовь?!

— Нет-нет, так — сказки, байки солдатские...

— А-а. — Акмелёв вынул брегет, щёлкнул крышечкой. — Как назовёшь книжку-то? Надо название.

— Есть название. Я с названия и начал.

— Ну-с?

— «Медный посох», с Вашего позволения.

— «Медный посох»? Странно... Это странно, Иван. Придумай другое.

— Николай Степаныч, то не я придумал, — развёл руками писарь. — То молва. Служил, ребята говорят, такой Солдат, на роду ему было чудо написано. Вот пошёл он как-то по царской воле за леса, за моря, на Кудыкину гору. Там повстречал Ведьму красивую, и увлекла она его в Кудыкину преисподнюю...

— В Кощеево царство... — продолжил Акмелёв иронически.

— Другая байка, — сразу перескочил Никодимов, — про военный лагерь в Кошеевом царстве. Злые солдаты напали на добрых. Всех перебили, один Добрый Солдат на весь лагерь остался — отстреливается через окошко. Вот — замолчал он: патроны кончились. А те боятся подойти. Кинули гранату в окошко, залегли, бах, головы подымают — облако пыли оседает, оседает...

Акмелёв, в ожидании, уставил длинный нос на рассказчика.

— Оседает, оседает... — томил рассказчик. — И видят каратели: перед ними Добрый Солдат стоит, живой, только грязный маленько. Без оружия, и на трубу, как на костыль, опирается. Кусок трубы от водопровода, два дюйма толщиной, два аршина длиной. Медью светится. Стали думать каратели: труба — оружие, ай нет? Спрашивают Солдата: «Сдаёшься ай нет?». Тот молчит: оглох, поди. Второй раз кричат: «Брось трубу, не то стрельнём!». Тот молчит. Они в третий раз кричат: «Молись, стреляем!» — и ружья наводят, сорок человек, понятно и глухому, что сейчас от него одни подошвы останутся. Не. Стоит. Глядит бестрепетно. А сорок человек, они — что? Упустили момент стрелять, теперь надо в плен брать. А как? Он с трубой. Где командир? Прибе-

жал взводный командир, давай орать: «Шо вы тут телитесь, бога-дусю-мать?! Двое — отними трубу! Четверо — вяжи пленного!». А Добрый Солдат глядит по-доброму и трубу ласково гладит... Каратели заменжевались.

— Что же они за дураки такие? — презрительно отозвался прапорщик. — А отвлекающий манёвр?

— Вот и взводный то же им толкует: «Мать вашу, отвлекай! Заходи с тылу!». Каратели, все сорок человек, давай скакать, будто зуавы вокруг ведмедя, а тот стоит вольно, и не огрызается даже. Взводный охрип, маузером машет, ничего сделать не может. Пришёл ротный. Всех построил: «Ружья — товсь! Целься!». И объявляет Доброму Солдату *уйтиматом*: «Бросай трубу и иди на обед. Или — считаю до трёх: раз...». Хитрость такая: не может солдат на обед не пойти — тут его и скрутят. А Добрый Солдат, он что делает — садится на камень, кладёт трубу рядом и приступает портянки вертеть: с мокрой стороны на сухую — армия стоит, наблюдает, интересно им. Ротный уже три раза до трёх досчитал, умолк, ждёт, пока Добрый Солдат переобуется и пойдёт на обед. А тот и не торопится, за табачком полез... Ротный плюнул на эту комедию, оставил приказ взводному: доставить к нему пленного — а сам ушёл. Взводный оставил приказ отделённому: взять пленного под стражу — и увёл взвод на обед. Отделённый велел пятерым сторожить, других пятерых увёл кормить. Так все начальники ушли. Возвращаются — а те пятеро сидят с Добрым Солдатом рядышком, и все табачок курят.

— Сам сочинил? — говорит Никодимову адъютант Акмелёв. — На каторгу пойдешь, в Африку, пешком.

А Никодимов отвечает без испуга:

— Это — был, господин прапорщик. Тот Солдат до сих пор на камне сидит.

Тут Николай Степанович сругнулся матерно — в том смысле что: не ври.

А Никодимов крестится: не вру.

Ладно, допили чай, пошли посмотреть на Солдата. Это тут недалеко, говорит писарь, у шестой казармы, с того конца.

Подошли: камень на месте, Доброго Солдата след простыл.

Господин товарищ прапорщик изволили смеяться.

На следующий день арестованный Миколка Шабалда за две папиросы рассказал Акмелёву ещё две байки — как Добрый Солдат на том свете Кайзера казнил медным посохом; и как Добрый Солдат в раю Богу уши продувал.

Так себе байки. Поэт задумался — из какого сора вырастает русский фольклор, из какой бабьей дряни. В деревнях обмолотом новостей испокон занимают бабы и девки. А тут, в армии, молотить языком некому, и вот, чтобы тишину гробовую разогнать, мужики друг другу небылицами ушаты заливают, сказки бают. Песни — тоже. Которые поинтереснее байки, те живут долго, окатываются в кругляши, огалыши занятные — с ними детворе играть. А поэтам для высокой игры святой дух нужен, или, по бедности, античная символика — *эрзац инспирасьон*...

— Всю пачку пожалуете — я имя его вспомню. — Шабалда забеспокоился, что начальство его больше не слушает.

— Чьё имя? — насторожился следователь.

— Того Солдата. У него имя есть!

— Говори.

— Дозвольте пачку траченную себе забрать?

— Розог тебе пачку! — повысил голос Акмелёв. — Кандалы! Следствие за нос водишь! Говори всё дочиста.

— Унтер-офицер Егоров, именем — Андрей. Состоял в преступной связи с нечистой силой в лице француженки Контин. Одолел её трижды — ититской силой, железной пястью и медным посохом. Попросту — убил суку.

— Убил?! — изумился Акмелёв. — До-об-рый Солдат... Где он?

— Дак тут он.

— Где? На камне сидит?

— Может, и на камне... Я давно в роте не был, не знаю.

Акмелёв медленно, с расстановкой произнёс:

— Где и когда ты видел последний раз унтер-офицера Егорова?

Николай Степанович Акмелёв никогда не мечтал о сыскной службе, но, принуждённый заниматься отловом агитаторов, мечтал поймать самого главного зачинщика беспорядков, притом так, чтобы без труда — «медным посохом» поэтического прозренья. И вот, как в один момент приходит рифма, так в один прекрасный момент сошла к нему версия, простая и безошибочная: тот, кого славит молва, и есть главный зачинщик — притом не побеждённый, а значит, будущий предводитель нового восстания. Версия была восхитительна. Поэт со всей силой воображения представил себе картину нового кровопролития с бессмертным вождём во главе, — ужаснувшись, он немедленно снялся с места и едва не бегом поспешил к начальнику караула за конвоем.

Однако, проходя мимо шестой казармы, прапорщик замедлил шаг: на знаменитом камне сидели шестеро архаровцев — полуодетые, с сигарками, бывшие пехотинцы. От них зримыми кругами расходилась эпидемия вольности. На солнцепёке в шайках грелась вода для постирушки, по газону бродила чья-то овца, из окна казармы струились трели мандолины... Появление конвойных с оружием здесь было нежелательным. Погуляв в задумчивости, Акмелёв вернулся в строевую часть.

Там, в Гималаях казённых бумаг, где мысли мельчают и прозренья гаснут, поэта в полусне накрыла истина: он тут не нужен. Точнее, он нужен не тут. Он — свеча в разгаре дня.

Будет ночь, и его хватятся. Пойдут искать, расставя руки, натываясь о стулья, пугаясь чёрных теней, и ещё больше пугаясь белых. Будут шарить по ящикам, радоваться найденной непочатой пачке новых свечек, свежих, ни разу не горевших, не знавших огня... Женские. Руки. Вспышки. Спичек. Белоснежный пеньюар. Милое лицо, два огонька в глазах — два отраженья одного меня. Тень в полкомнаты. И сытый храп чужого.

Скука.

Все — изменники: если не бывшие, так будущие. Акмелёв чувствует кожей: по лагерю гуляет смерть. С виду всё по порядку: лагерники прибираются помаленьку — вставляют стёкла, хороняют мусор в воронках, ровняют дорожки. Посмеиваются между собой. Но Николай Степанович своим собственным, не казённым, чутьём улавливает опасность в их смехе, в щёлочках глаз, в замедленном исполнении команды. Третья бригада «верных» уже мало чем отличается от Первой бригады «штрафных».

*Плохое место — Ля Куртин.  
Здесь от затишья давит уши.*

Приближается новый пожар солдатского неповиновения, его запал — Добрый Солдат Егоров? Его «бессмертный вождь» — убийца, вор? Сам не свой от мучительных аллюзий, поэт устремляется по следу.

Он отыскивает inferнального унтера на... гауптвахте.

В камере темновато; под потолком маленькое оконце. Пахнет сыростью, в углах плесень. Пол земляной, утрамбованный. Посередине камеры, лицом к свету, сидит рослый унтер, он в погонах, но распоясан и простоволос. Акмелёв обошёл сидящего: бородат.

— Встать. Фамилия?

Унтер не спеша поднялся.

— Егоров.

— А-а, — вспомнил Акмелёв. — Бригадный совет. Ультиматум.

Стоять напротив ему неуютно: солдат выше ростом и шире в плечах.

— Садись. Докладывай — почему допустил кровопролитие?

Унтер отчуждённо молчал.

— Почему товарищей своих погубил?!

Унтер глядел мимо. Дать бы ему в скулу.

— Откуда родом, Егоров? — зашёл с тылу Акмелёв.

Тот ответил, конечно. Вопрос про родину все уста отворяет. Скупно заговорил.

Николай Степанович слушал его простую речь вполуха. По правде говоря, «родная

сторонка» пехотинца ему была противна. Акмелёв не чувствовал жалости. Он сердился на предательскую двойственность мира и мыслей о нём. Мысли разъезжались, — он, Николай Акмелёв, жрец Гармонии, не мог этого допустить. Но как?! Он гнал от себя символ — свечу, а сам спасался только им... И всё вот так, простые вещи сделались сложными. Или это год такой? Или местоположение — Ля Куртин, изнанка смысла: русские во Франции?!

— За что ты убил француженку? — протестным голосом Порфирия, испытателя, прервал Акмелёв унылую череду околичностей.

Сейчас унтер ответит: «За измену» — и разговор будет кончен. «Ну, так и тебе убитым быть» — наложит свою резолюцию Николай Степанович, и все вещи, и все мысли сразу уложатся на свои места, и Господь вернётся на трон небесный.

Но унтер, безмятежен, глядел куда-то сквозь стену. Выглядев там что-то, он, опершись своими бурыми лапами на колени, начал медленно подниматься, и Акмелёву понадобилась вся его уланская отвага, чтобы не схватиться за кобуру.

Выпрямившись во весь свой недюжинный рост, унтер одёрнул гимнастёрку, не спеша застегнул верхнюю пуговку. Акмелёв, замерев, наблюдал.

— Я к вам с прошением, господин прапорщик, — произнёс Егоров, отчётливо и ровно, будто арестован не он.

— Говори, — механически разрешил Акмелёв. Готовый к стычке, он следил за руками унтера.

— *Же ву при де мекрир дон лё «Руссе де ля лижьён доннёр»!* — заявил прошение унтер.

Господина прапорщика так и раззявило.

В следующую секунду он пришёл в восторг от совершенного идиотизма происходящего: вот уже полчаса он, поэт Николай Акмелёв, беседует в грязном клоповнике с юродивым в форме унтер-офицера Императорской Армии — неубиваемым богатырём, легендой мятежников Бля-Крутин и бессмертным вождём, — по-французски!..

Николай Степанович живо представил себе, как он будет рассказывать об этом эпизоде своим друзьям-поэтам. Нет, он напишет рассказ, весёлый и трагичный, небывалый: Россия в капле воды, — Гоголь в гробу перевернётся.

— *Бьен сюр*, — согласился Акмелёв и предложил: — Присядь, обсудим.

Андрюша сразу узнал косоглазого офицера. Это он доставил ультиматум восставшим. Длинное лицо, неуловимый взгляд, невнятная, картавая речь. Важный. О родине спросил — для следствия. Андрюшу не тронул вопрос. Всё в душе покрыто коростой. На уме одна мысль: девочка по имени Анжу. Он тут, в камере, оставлен с нею один на один. Днём и ночью перед глазами: Анжу. И ладанка с лекарством тянет к земле, будто жёрнов на шее. И никому ничего не объяснишь. И не надо.

Говорить не о чем, а тут приходит штабной чин и спрашивает о родине. Андрюша в ответ повторяет чьи-то, много раз слышанные, слова о доме, матери и сёстрах, — лишь бы не молчать. Но как только прапорщик произнёс спусковое слово «убил», сам собой, наугад, выстрелил план.

— Прошу способствовать моему зачислению в «Русский легион чести»! — твёрдо, будто тщательно продуманное решение, заявил Андрюша... по-французски. Ничуть не надеясь, что его дерзкую просьбу удовлетворят, или хотя бы услышат, что вообще разберут его плохой французский, он заявил даже не просьбу, а свою правду. Она не имела слов, но она была! Как вот это сказать по-русски? Никак, только по-французски.

— *Же ву ну!*..

— У той француженки, — докладывал план Андрюша, — осталась дочь там, возле Реймса. По имени Анжу. Мне надо к ней, отнести лекарство, она больна. Пешком туда не дойти. С поезда снимут. Остаётся записаться опять на войну, доехать эшелонам до фронта, а там улучшить момент и наведаться к Анжу.

Прапорщик выпучил глаза. Загремел:

— Записаться на войну?! Чтобы отвезти лекарство?!

Андрюша отпрянул, ожидая удара по лицу.

Но поэт Николай Акмелёв профессионально избегал пошлости. Не меняя выражения лица, он повёл собеседника к западным бессмыслицы.

— Твой ребёнок? — спросил он.

— Мой, — не задумываясь, ответил Егоров. — Моя. Анжу. Она больна.

— С кем сейчас ребёнок?

— С тётей Филиппой. С её тётей.

— Ты уверен? Откуда знаешь — может, она передала ребёнка другой какой-нибудь тёте? Или похоронила его?

— Вот я и узнаю.

— А ты этого не сможешь узнать: вероятнее всего, они бежали в тыл. И может статься, на ту сторону. А что? Почему нет? Вдруг они бежали на территорию, занятую германцами, а? Что скажешь?

— Схожу туда. На ту сторону.

— «Схожу»? Егоров, ты как мальчик будто — кто тебя туда пустит?

— Я уже ходил.

И Андрюша рассказал Акмелёву о своих рейдах в тыл германцам — скупое, в нескольких словах, но боевому офицеру этого оказалось достаточно. Он встал.

— Господин унтер-офицер, — проговорил строго. — Я должен буду доложить об этом по команде.

Егоров молчал.

Акмелёв рассматривал его то одним глазом, то другим.

— Вас отправят в тюрьму, — начальственным тоном прапорщик вынес вердикт, — на остров Экс. Чтобы вы не гуляли по тылам противника. Если вы ещё раз кому-нибудь об этом расскажете.

Уже в дверях прапорщик полюбостствовал:

— А что за гостинец?

— Немецкое лекарство. Было ещё какао, но у меня его украли.

— А лекарство?

— Здесь.



Егоров расстегнул ворот и снял с шеи флакончик. Подобно ладанке, он висел на гайтане рядом с крестиком.

Николай Степанович отвинтил пробочку, понюхал: обычная камфара, от насморка. Глянул исподлобья на Андриюшу: ради этого на погильель?

Вернул святую реликвию рыцарю. Прознёл что-то по-английски. Стихи?

Андрияша не понял.

Через двое суток унтер-офицера Егорова неожиданно выпустили из камеры и записали в «трудовую роту», которая отправлялась в Реймс на ликвидацию разрушений. Оттуда он, переодевшись и сбрив усы, бежал в Донтриер.

Там, конечно, никого не было. Тётю Филиппу и Анжу он нашёл у бабушки Мари в Пуавре, на улице Эглиз. Напугал девочку, рухнув перед ней на колени, но потом ничего, подружились. Андрияша подарил ей «дочку» — соломенную куколку, Анжу назвала её Франческой.

Взрослых женщин он вывел в другую комнату. Бабушка Мари и тётя Филиппа подчинились покорно, как заложницы.

Волнуясь, путая слова, Егоров признался матери в убийстве её дочери. Мари и Филиппа, обе две, так и сели на койку.

*Гран солда Ондрэ*, непонятный, бритый русский во французском платье, понутив голову, стоял перед женщинами, мял в руках берет и ожидал возмездия. Чего захотел. Возмездия не последовало.

Андрияша снял с шеи флакончик и почти протянул старой Мари. Та испуганно отшатнулась и спрятала руки. Флакончик приняла Филиппа, она вежливо, как сумасшедшему, поклонилась русскому солдату: «*Мерси*». Украдкой понюхала реликвию.

Егоров побелил закопченные пожаром стены их дома, поменял стекло, привёз тачку угля. Бежал от жандармов через окно. Вернулся в роту, отсидел трое суток на губе. Вышел — живой.

И Акмелёв ожил. Куртинская командировка странным образом освежила ему го-

лову. Николай Степанович наложил оправдательную резолюцию на дело одного из двух сотен мятежников и тем самым отправил оно не в тюрьму, и даже не в Марокко, а в прифронтной Реймс, и именно для того, чтобы тот сбежал. Поступок этот не укладывался в его миссию поэта, не говоря уже об офицерском долге, православной вере и убеждениях монархиста. «Интеллигент», — подмигивал Николай Степанович своему отражению, бреясь. Оставался пустяк — найти себе такого друга, которому можно рассказать эту вздорную историю.

14 октября 1917 года на банкете в честь окончания войсковой операции «Ля Куртин» Николай Акмелёв выступил с шутивным рапортом в стихах, написанным в манере Козьмы Пруткова:

*За службу верную мою  
Пред родиной и комиссаром  
Судьба грозит мне, не таю,  
Совсем неслыханным ударом.*

*Должна комиссия решить,  
Что ждёт меня — восторг иль горе:  
В какой мне подобает быть  
Из трёх фатальных категорий?*

*Коль в первой — значит, крепость стен  
И кров приветный я покину,  
И переиду в Ком Фельтэн  
Или в мятежную Куртину.*

*А во второй — я к вам приду —  
Пустите в ход свое влиянье:  
Я в авиации найду  
Меня достойное призванье.*

*Мне будет сладко в вышине,  
Там воздух чище и морозней,  
Оттуда не увидит мне  
Контрреволюционных козней.*

*Но если б рок меня хранил,  
И оказался бы я в третьей,  
То я останусь там, где был,  
А вы стихи порвите эти.*

## Монбельяр

Котёнок Шапу пьёт молоко. Осеннее солнце греет железную кровлю под босыми ногами. Ветерок качает сухой лист, силясь спихнуть его с крыши. Вровень с крышей плешивая крона дуба, побитого старостью, осенью и войной. На той стороне кроны каменный балкон с чугунной оградой, медные тазы, дверь в комнатёнку Лилит: красotka ест, не иначе. Сидит перед трюмо и ест, и глядит в зеркало — как она ест и сидит, Лилит. Завтра она придёт с подругой в гости: наверно, с Калеткой. Пусть полы помогут сперва. За такую цену-то.

Комнату он снимал на пару с Коляшей Поповым, однополчанином. Потешный малый. Как напьётся, так непременно рвёт рубаху на груди: «Ан-дрюха! Я поверху стрелял!..». Это он Куртин вспоминает. Как стояли они, сорок человек против одного унтера, и всё никак попасть в него не могли, с десяти шагов, в безоружного. Потеха же. Однажды Андрюша высказал ему. Сидели вечером, голова к голове, картошку чистили, Егоров и говорит: «Попов, я всё понимаю — ты правильно сделал, что ушёл тогда, ну, из лагеря. Но зачем ты в каратели записался? Не пойму». Коляша задёргался: «Меня заставили! А я поверху стрелял! Я всегда поверху стрелял!..». Малое словечко «всегда» пробивало Андрюшину грудь, и он умолкал: сам-то он никогда не стрелял поверху. Он всегда стрелял в цель, всегда, но геройства в том не видел. Утром Коляша зашивал порванный ворот, и больше земляки о войне не говорили. До следующего раза.

Как устроился на новом месте, он сразу написал письмо на родину — про погоду, про здоровье. Стал ждать ответа. Ещё написал, потом ещё. Год ждёт, второй ждёт — нет ответа из дому. Не пускают домой наших солдат. Раз в неделю каждый интернированный должен отметиться в мэрии.

У Андрюши свой шкаф. Там на полочке в образцовом порядке: тельное-постельное,

мыльное-рыльное, зубной порошок, а на вешалке... Пусто. Старая шинель без погон. Зато у Коляши в шкафу на вешалке — гордость: пиджак из твида, с тремя пуговицами, ремнём и большими карманами, хоть патроны носи. Военная мода, и Коляша в нём хорош — натуральный британец. В нём и зимой можно будет ходить, шарфом обмотаться. «Твидовую каскетку бы ещё, с ушами, — мечтал Коляша. — И жокейские штаны». Попов любил гулять по променаду вокруг крепости в сопровождении бедно одетого задумчивого друга. Андрюша, молодой годами, на гражданке стал экономен в движениях, как старик.

Сперва они с Коляшей посещали класс мадам Кудынцевой. В складчину снимали апартамент на улице Тома. Большая комната, светлая, и ещё удобно — загибается, как сапог: одна койка в голенище, другая в оголовке. Удобно девок водить. Звали в гости двух мамзелей — Лилит и Калет, сто франков за ночь, сидели, в карты играли, песни пели, сидром угощались, потом по койкам расходились. Утром мамзели, гружённые милофьёй, ковыляли домой, как сонные утки. Андрюша вылезал на крышу курить, кормил котёнка Шапу, глядел на осень. На старую крепость старался не глядеть, а куда денешься — она тут царём. В ней стоит гарнизон Монбельяра.

Завод Пежо строил военные грузовики по американской методе — конвейером. Рослый Егоров сперва пригодился на электростанции — кочегаром. Управлялся легко, ещё и после работы оставался, помогал механику в ремонтах. Его заметили и пустили пройти курс. Так он получил разряд механика, хорошую зарплату. Коляша крутил гайки на конвейере, тоже не обижался. А вот местные, хоть и получали больше, обижались без конца. Ругались с начальством, — зачем это?.. Вот митинги Андрюше нравились — французы по сигналу вожака дружно бросали работу, быстро собирались в условленном месте, сплочённой группой шли под окна управляющего, вызывали его — и тот выходил!

Они его ругали, он их ругал, — Егоров в стороне стоял. Договаривались как-то и шли работать дальше, пролетарии. Умом Андрюша был с ними. Телом тоже, но... Да нет, всё в порядке: механику Егорову нравилась их чёткость и безотказность во всём. Они и пили хорошо, и плясали весело, и собрания у французов были всякие, кружки. Завод был новый, война кончалась, и всё было внове. Надежды, планы. Русские рабочие вшестером посещали кружок изучения французского языка мадам Кудынцевой, Луизой Альберовной.

Луиза Альберовна собирала бывших русских солдат на журфиксы в трактире «Rodnaya Storotka». Хозяйка — метресса Магуса накрывала чайный стол с баранками. За чаем разговаривали по-французски, танцевали — приглашали сестёр милосердия, им орден позволял некоторые танцы, не все. Луиза Альберовна объясняла назначение бонтона. У хороших манер, оказалось, имеется разумное назначение! Станный это был трактир, необычный. Наверху, вместо комнат для свиданий, были библиотека, кинема и бильярд.

Там собирались старые русские эмигранты, громко читали газеты вслух, спорили. Когда там не было собраний, Луиза Альберовна вела наверх свой выводок смотреть фильмы — довоенные киноленты ателье Ханжонкова, с летучим конём в заголовке: «Сумерки женской души», «Страшная месть», «Унтер Пришибеев»... И вдруг, без афиш, нелегально, — свежий киноплакат под непривычным названием — воззванием: «Иди, товарищ, в наш колхоз!»!

С первого просмотра Андрюша ничего в том киноплакате не понял. Ни на что не похожая фильма. Мадам Кудынцева тоже не смогла объяснить. Привела Егорова в библиотеку, представила его бородатому господину. Своего имени господин не назвал, вопреки бонтону. Зато все объяснил доходчиво, на примере: как во Франции Робер Пежо запустил конвейер, так в России Владимир Ленин запустил колхоз. Зачем? А чтобы не в одиночку сохой землю ковы-

рять, а в складчину купить трактор и все наделы вспахать за один день! Ещё можно в складчину построить один преобладающий дом на всех, и зимовать всем под одной крышей, чтобы жить веселей, и дров на обогрев меньше уходит.

Ну, последний резон бывшему солдату объяснять не надо. И с разделением труда на заводе Егоров уже хорошо был знаком. Механизмы, они же дорогие, в одиночку не купишь — объединяться надо. Как красиво цветёт новая жизнь в этой фильме, как разумно живут в новой России новые люди!

Луиза так обрадовалась живому интересу печального ветерана, что перестала быть чопорной Альберовной, хранительницей буржуазных традиций, загорелась, понесла Андрюше книги толстые и тощие брошюры, повела на собрания. «Андрей! Сегодня я познакомлю вас с интереснейшим человеком». Самым интересным из всех оказался бородатый господин — Иван Васильевич Кудынцев, сын героя-полковника. «Блудный сын», — смеялся Иван Васильевич. В юности он пренебрёг отеческими идеалами, увлёкся социал-демократизмом Второго Коминтерна, лично, по его словам, подготовил Октябрьский переворот 1917 года в России, и жену свою, Луизу, воспитал в духе преобразований. Фундаментальных преобразований. Луиза Альберовна — его жена — учила бывших солдат французскому языку бесплатно, движимая жадной созидания нового человека. Для этой цели как нельзя более подходил бывший солдат Андрей Егоров, интернированный французскими властями и направленный на работу в Сошо, на автомобильный завод, — чистый пролетарин в первом поколении, *табула раса*. Она стала приглашать Андрюшу на чай, усаживала его рядом с Иваном Васильевичем и радовалась тому, с каким достоинством ладят друг с другом оба её мужчины...

Прислали Андрюше гонорар и письмо с родины — в один день!

Сперва про гонорар. Луиза уговорила Егорова написать корреспонденцию в париж-

скую газету «Наше слово» о жизни русских интернантов, их материальном положении и духовном сношении с Родиной. Заметку напечатали и даже прислали гонорар, тайно дополненный господином Кудынцевым, да ещё у Андриюши была куча денег, он их раздавал калекам налево и направо, — и вот, в тот праздничный вечер, Луиза повела великовозрастного воспитанника к дорогому брадобрю, а потом в магазин готового платья. Там Андриюшу одели. В зеркале, в полный рост, с несгибаемой военной выправкой, едва помещаясь в раму, стоял белокурый гигант в костюмной паре цвета ночного неба со звёздами, в белой сорочке с крахмальным воротником, при галстукe, в ослепительно чёрных штиблетах, и с тросточкой. Невыплаканное страданье в голубых глазах придавало ему кинематический шарм. По спине Луизы пролетели мурашки, когда киногерой склонил к ней причёску, поднял её бессильную кисть и поцеловал ей руку.

Впервые на её памяти он улыбнулся, и Луиза ахнула: у Андриюши были железные зубы! Пять лет назад она бы таки упала, но война, машины с крестами на дорогах, костыли на бульварах, сделали увечья привычными. Просто неожиданно они сверкнули. Он, следуя роли, пригласил даму в кафе. Там было вино, музыка и модная скука. Танцевать Луиза отказалась кратким движеньем подбородка, слабой улыбкой из-под вуали показав, как хорошо уметь грустить.

Душный вечер, уже темно, на улице пусто, фонари. Он проводил её домой, сдал с рук на руки мужу. Выслушал комплимент и отеческое наставленье господина Кудынцева — развивать журналистский талант. Иван Васильевич был настолько любезен, что предложил Андриюше заночевать в его доме; тот учтиво отказался. Отправился к себе, на улицу Тома. Пешком: городок Монбельяр маленький, всё близко.

У подножья крепости во тьме кустов светятся белые шары гортензий. Над крепостным редутом горят окна, там ждут ужина солдаты французского гарнизона. Дома балду гоняет Коляша Попов, ждёт Егорова чистить картошку вместе. Он не знает, что Андриюша

сыт, да притом ещё по-новому обут и одет, — а ведь он, Попов, всегда всё знает, и вдруг... Коляша подымает взор на вошедшего компаньона, и с ним, с Коляшей происходит камуфлет: Егоров пришёл *данди*! А прежде того, Егорову, пока он гулял, пришло письмо — письмо из дома! И теперь Попова ждёт третья потрясение, настоящая сердечная рана: сейчас *данди* Егоров будет читать своё письмо вслух! Коляше не пишут, а этому — всё: и письмо, и костюм... Поборов зависть, Коляша подаёт конверт. Егоров, привычно хмуря брови, рвёт конверт, раскрывает бумагу, идёт к свету. Читает молча. И молча уходит.

Вот он спешит на почту, стучит в запертую дверь — тщетно. Идёт к Кудынцевым, подаёт конверт Ивану Васильевичу. Тот читает, глядит жалко, но ничего не может сделать, разводит руками: «Соболезную. Только в понедельник». Луиза вынимает страшную бумагу из рук мужа. Телеграмма *конфидансьель*. Луиза читает наклеенные строчки, бледную печать русских слов: — «ПАПА УМЕР. ПРИШЛИ ДЕНЕГ = УСТИНЬЯ». Андриюша выгребает из кармана деньги, просит господина Кудынцева отправить их в Россию: сам он в понедельник должен быть на работе. Выйдя на воздух, долго, долго стоит под стеной, смотрит на звёзды. Приходит домой, а там Коляша, уже пьяный, спит, и рядом с койкой у него горшок, а в горшке — Шапу, мёртвый. В горшке. Задушен котёнок, и брошен в горшок.

Не меняясь в лице, Андриюша бережно, щепотью выуживает пушистика, несёт на двор и деловито закапывает под камнем — низенькой французской оградой. Сидит на камне, курит, курит. Потом идёт домой. Там Коляша проснулся — в рубаше с порванным воротом сидит с ножом, чистит над ведром картошку. Егоров берёт второй нож, садится рядом, вынает нечищенную из мешка. Спускает с неё шкурку быстрой, тонкой лентой. Бросает картошину в закопчёную кастрюльку, стоящую на керосинке. «Ну, что?». Молчание. «Едем?». Молчание. «Нет».

Он уехал в Россию зимой, в январе 1921 года. Посчитать — ровно пять лет ми-

нуло, как отправили его в экспедицию. Сюда же плюсуем первые, ижевские два года — итого: семь лет не был дома Андрюша. Дом ему уже стал казаться Царствием Божиим — прекрасным и несбыточным, бесплотным потоком света и печали. Андрюша был богат этим светом, богат и тем мраком — болью трёхлетней выдержки, тяжкой ношей мёртвого тела на плечах — своей *частной собственностью* навеки...

Три года, как с них сняли погоны, полтора года, как окончилась война с Германией, Андрюша и его собратья ждали разрешения вернуться на родину и вот, внезапно, как снег на голову, предписание: 21 января явиться в Гавр для посадки на пароход!..

— Ну что, едем? — опять всё тот же разговор. — Там новая жизнь.

— Егоров, там беда, — отвечал Коляша резонно: — Там убьют за понюшку табаку и даже не закопают. А здесь можно натурализоваться. Оставайся?

— Ну, прощай.

Не мог он тут больше оставаться. Подарил Коляше на память свой замечательный костюм цвета январской ночи со звёздами.

На поезд до Гавра его пришли провожать супруги Кудынцевы; на перроне обнялись втроём; Луиза плакала.

В Гаврском порту, в ожидании посадки, Андрюша прогуливался вдоль кованой цепи, служившей оградой. Стянул с пальца памятное латунное кольцо со стёртым именем. Повесил его на ветку за оградой и двинулся к трапу.